
Адольф ЗЕМАН

ВАСИЛ ИННОКЕНТЬЕВИЧ: ЧАСТИЦА СИБИРСКОЙ ЭПОПЕИ

Главы из романа*

Предисловие

Любая экскурсия в чешские литературные летописи русской Гражданской войны, вне всякого сомнения, не будет полной без романа Адольфа Земана «Васил Иннокентьевич». И если не всего целиком, то, как минимум, заключительных глав, трети примерно общего романного объема, рассказывающих о последних днях Гражданской в Сибири и драме иркутского антиколчаковского восстания эсеров-земцев. События, если и описанного кем-то еще, то лишь в специальной, едва ли чье-нибудь воображение возбуждающей и сердце трогаящей сугубо научной литературе. А тут художественный текст. И не просто художественный текст, а с главными героями — русскими людьми, Василом Иннокентьевичем, Марией Михайловной и Николаем Степановичем. Ну, совсем как у Толстого или Достоевского.

Что очень необычно в общем потоке чешских хроник тех лет, живописующих, как правило, лишь судьбы «братьев» Франты, Вашека, ну, или Йиржи, их радости и горести. А тут все наше, хоть и глазами брата, и не родного, и не двоюродного, но точно кровного. И со своим особым углом зрения. Что, в свою очередь, необычно для нашей собственной литературы тех давних лет во всем диапазоне от Гайдара до Шмелева. Либо красной, либо белой. А здесь впервые нам напоминают о третьей силе. О русской демократии, первой, из всех уже оформившихся в России социальных сил, вступившей в Гражданскую, КОМУЧ, летом 1918-го, и последней — иркутский Политцентр, закрывший зимой 1920-го печальные страницы истории великой русской смуты, как назовет ее позднее Антон Иванович Деникин. Левая, некоммунистическая оппозиция, равно противостоявшая в Сибири как большевикам, так и колчаковцам.

Адольф Земан — автор романа «Васил Иннокентьевич», как и огромное большинство чехословаков, масариковского призыва в чешское национально-освободительное движение, безусловно на стороне русских демократов. Эсеров в первую очередь. Об этом свидетельствует каждое слово романа. Гораздо меньше о драме самих чехов, ну, или, как их положено было тогда называть, чехословаков, оказавшихся волей судьбы после развала Поволжского фронта и длительного отступления зимой 1918-го совсем не там, где бы им хотелось, и не с теми. Об этом моральном и политическом, да и душевном сломе напишут многие другие. И стоявшие на самом верху чехословацкой военно-политической пирамиды, например, сдержанно и лаконично комиссар целого фронта, Вацлав Найбрт¹, и те, кто располагался в самом ее

* Zeman, Adolf. Vasil Innokentějevič: kus sibiřské epopoje. V Praze: Adolf Zeman, 1922, 312 s.

¹ «Вместо сражения с немцами и австрийцами мы были втянуты в хаос сугубо внутреннего русского конфликта, и бой, который до этого мы вели против одних только большевиков, стал боем против

низу, ну, скажем, со всей возможной откровенностью, простой ефрейтор Ян Шафранек². А вот Адольф Земан не станет. И это не удивительно. Ведь он хотел не как все, о Франте, Вашеке или же Йржи. Он хотел сам и по-своему о трагедии русских. Васила Иннокентьевича, Марии Михайловны и инженера Махнова. Совсем как Чехов.

Другое дело, что литературный талант иного калибра. Но это и не так важно. Рожденный в 1882 году в Праге³, выпускник философского факультета пражского Карлова университета Адольф Земан был занят активной журналистской деятельностью уже в 1907-м. С началом Первой мировой войны оказался на русском фронте в составе 91-го пехотного полка, гашековского, будейовицкого, но в плен был взят в Карпатах уже в марте 1915-го, когда Гашек, призывник нестроевого разряда того же полка, был еще только-только признан «годным» в Праге. Как и многие патриоты-пленные, Адольф Земан уже в 1916-м вступает в Киеве в Чешскую дружину, поначалу солдат, а с 1919-го сотрудник штаба. Первую мировую, перетекшую в русскую Гражданскую, Адольф Земан заканчивает в Сибири в звании подпоручика и сразу по возвращении на родину, в новую независимую Чехословакию, вновь окунается в знакомую и любимую редакционную жизнь. С 1921-го сотрудник газеты «Пражские новины», и в этом же десятилетии составитель пятитомной книги воспоминаний чехословаков, солдат Первой мировой и русской Гражданской — «Дорогами борьбы» (1926–1929). Роман о русских людях «Васил Иннокентьевич» (1922) — первый серьезный литературный опыт чешского журналиста и редактора⁴. Возможно, равнодушного точно так же, как и Ярослав Гашек, к Максиму Горькому. И если нашему Максиму позволено дать русскому человеку имя Васса, так почему же чеху не простить Василя? Василя Иннокентьевича Макарова. Которому его красивая невеста Мария Михайловна, совсем как пушкинская Таня, однажды «отдана» и будет «век ему верна». Тем более что такой знакомый и понятный русский любовный треугольник, один боевой офицер, собственно, сам Адольф Земан, другой красивый, статный — Васил Иннокентьевич и его верная невеста Мария Михайловна, выписан на фоне ныне забытых, но требующих, несомненно, понимания и осознания событий последних дней русской Гражданской. Иркутского антиколчаковского восстания, организованного сибирскими эсерами-земцами.

Для очень широкого и многочисленного круга русских людей исследователь Русского Севера и славный адмирал Александр Васильевич Колчак вовсе не был

социалистов всех мастей. И при этом вместо роли решающего все самостоятельно исполнителя нас принудили принять долю покорного помощника». Najbrt, Václav. Rozlet a rozlom sibiřského bratrstva. Vrno: Moravský legionář, 1936, 158 s. (здесь и далее все переводы с чешского мои. — С. С.).

² «Когда я оказывался у телеграфного аппарата и читал бегущую ленту, содержавшую сводку о происшествиях в разных местах, я частенько изумлялся, как быстро меняется ситуация, и именно тогда ко мне пришло понимание причин общего огорчения и неприятия омского переворота (Колчака) нашей армией.

Собственное внутреннее чувство не зря подсказывало, что этот насильственный и реакционный переворот таит в себе угрозу, и так оно и оказалось.

Целые деревни, края, районы бунтовали, люди, часто вообще не вооруженные, с вилами, косами шли против пулеметов». Jan Šafránek. Na tak zvaném «oddychu» čili život na magistrále. В кн.: Cestami odboje. Díl IV. «Pokrok». Praha. 1928, s. 453.

³ 24.01.1882. Ушел из жизни Адольф Земан, там же, где и родился, в Праге, 08.07.1952.

⁴ В 1920 году из-под быстрого пера Адольфа Земана успела выйти книга воспоминаний о морском путешествии из Владивостока в Европу «Чехословацкая одиссея». Одновременно с романом «Васил Иннокентьевич» в 1922-м увидит свет и небольшая книжка рассказов «Сибирские картинки», а сразу же затем, в 1923-м, объемистый этнографический очерк о жизни бурят «В краю шаманов и лам». После этого личный опыт станет играть все менее и менее значимую роль в творчестве писателя. Начиная с 1926-го романы пойдут у него уже чередой, и к концу тридцатых их будут насчитываться десятки, и не только о чехословаках в России, но и обо всех героях на свете, включая легионеров во Франции и Италии. Очень плодотворным беллетристом окажется бывший журналист.

жертвенной фигурой романтического, всеми покинутого рыцаря, бестрепетно отдавшего жизнь за Россию. Увы. Бездарным диктатором, неумелым главнокомандующим, но главное, человеком, за спиной которого прятались люди вроде Волкова и Красильникова, ознаменовавшие уже первые дни колчаковского переворота в Омске кровью и бессудными убийствами, или же подобные Сипайло и Годлевскому, все той же кровью окрасивших с каким-то уже запредельным зверством и последние дни существования колчаковского режима. Власти, умудрившиеся всего лишь за один год бессмысленного принуждения и жестокости вкупе с ничем не оправданной бесхозяйственностью и разрухой превратить абсолютно мещанскую, крестьянскую, зажиточную и самоуверенную Сибирь, на дух не принимавшую коммунизм, если не в его оплот, то совершенно точно в землю, готовую принять этот проклятый большевизм и с ним примириться. И чем скорее, тем лучше.

Поэтому если взглянуть на русскую Гражданскую не глазами белой или красной гвардии, Гайдара или Шмелева, а встать на точку зрения эсеров, социал-демократов или сибирских автономистов, то станет понятно то чувство стыда и вины перед русскими, которое не могли не испытывать, а кое-кто и очень остро, многие и многие чехословаки к концу Гражданской. Вроде бы и не принявшие колчаковский переворот, вроде бы и не воевавшие с зимы 1918-го, но охранявшие Транссиб, по-прежнему сидевшие в России, пусть и не по собственной воле, а оказавшись заложниками решений союзников, но этим самым поддерживавшие Колчака, а значит, хочешь того или не хочешь, нравится это или не очень, весь его репрессивно-карательный режим. И его действия. Так что выдача уже бывшего Верховного правителя в январе 1921-го в руки демократов иркутского «Политцентра» многим чехам, вне всякого сомнения, представилась чем-то вроде искупления. Приношения на алтарь новой, свободной России. Готовой вот-вот восстать из пепла. Тем более тогда казалось, что и с гуманизмом тут, как ныне говорят, «все больше-меньше», ведь выдают адмирала и неудачливого политика не на верную смерть, а лишь на честный, открытый и справедливый суд русских людей.

Но об этом подробнее и точнее напишет все же не Адольф Земан, а другие его товарищи по оружию и литературно-публицистическому цеху. Просто потому, что автор романа «Васил Иннокентьевич» хотел поведать вовсе не о своих Франте, Вашеке или же Йржи в России⁵, а о русских на своей земле. Как самый настоящий большой писатель начала XX века. Как офицер и граф Толстой или же горный инженер Достоевский. А это значит — в первую очередь рассказать о метаниях души. Русской души. И это получилось. Васил Иннокентьевич Макаров и его жизненный путь — сибирский эсер довоенной закваски, офицер Первой мировой, заговорщик в 1918-м, колчаковец, командир Народной армии и, в конце концов, эмигрант — удивительным образом напоминают жизнь и судьбу вполне реального человека, многократно в романе упомянутого. Николая Сергеевича Калашникова. Эсера-террориста, каторжанина, прапорщика Первой мировой, подпольщика, колчаковского офицера, командующего Народной армией, большевистского комдива и эмигранта. В конце концов, конечно, эмигранта. Детского писателя в США.

Да-да. Похоже на карикатуру и пародию. Как на Толстого, так и на Достоевского. На все и всех. Но увы, слишком, слишком серьезную. И совершенно, совершенно не смешную. Для нас, для русских. В первую очередь. Для инженера Махнова. Для Марии Михайловны, Михаила Петровича и Николая Степановича. Для всех тех, кому за легковесность людей вроде Василя Иннокентьевича пришлось заплатить. И очень нелегкими субстанциями. И кровью, и слезами.

⁵ Тем более что такую «о Франте, Вашеке или же Йржи в России» Адольф Земан тоже написал и издал в том же самом году, что и роман «Васил Иннокентьевич». Это упомянутый ранее сборник рассказов «Сибирские картинки» (Zeman, Adolf. Sibiřské obrázky. V Praze: Legiografie, 1922, 120 s.). Так что баланс «идеализма» и «реализма», «чужого» и «своего» в творчестве писателя был совершенно определенно соблюден.

Глава XV

Живописно на низком полуострове, с двух сторон омываемом дугой зеленой Ангары, а с третьей речкой Ушаковкой, располагался город. Невысокий, но крутой противоположный берег Ангары, где один к одному лепятся деревянные домики глазковского предместья, был выбелен снегом. Вдоль прибрежного склона бежала змея рельсов к Байкалу, а у самого его подножия, сразу за понтонным мостом, сейчас разобранном, шумел и гремел вокзал.

От города он отрезан.

Морозы крепчали, и ледовая шуга на быстро бегущей Ангаре превращалась в большие льдины, делавшие переправу небезопасной. А между тем на вокзале стояли наши эшелоны, а в городе по-прежнему находился весь штаб⁶ корпуса. Кроме того, на окраине города квартировали и наши части⁷, а за рекой Ушаковкой, в Знаменском предместье был госпиталь⁸. Связь с вокзалом надо было удерживать любой ценой, и поэтому каждые полчаса пароходик пробивал себе дорогу через ледовые заслоны на другую сторону реки. Начало восстания, которое мы ожидали в любой момент, нас не удивило. Нам всем было ясно одно: нужно сохранять полный нейтралитет и ни за что не вмешиваться в распрю русских между собой, завершение которой стремительно назревало. Наша цель — сохраняя цельность рядов, неразделенных и спаянных, непрерывно двигаться на восток, во Владивосток, откуда эшелон за эшелон отправлялись наши части на родину. Ни о каком ином решении уже не могло быть и речи. С запада⁹ доносились до нас сладкогласные зовы, призывавшие сдаться и получить свободный путь на запад. Были то зовы из рядов коммунистов и на чешском. Но никто в западню не пошел. Все верили делегации, прибывшей с родины, которая с августа находилась у нас и располагалась на вокзале, а она устами своего руководителя Ф.-В. Крейчи¹⁰ объявила: «Родина не требует новых жертв», и единственная сейчас задача — это эвакуация. И никто уже не думал ни о чем, кроме дома.

⁶ Чешский штаб располагался в самом центре Иркутска в двухэтажном доме на Большой улице (ныне Карла Маркса), фотографию белого оштукатуренного здания с круглыми окнами-иллюминаторами в верхнем этаже можно найти в книге Ф.-В. Крейчи. В сибирской армии (Krejčí, F. V. (František Václav). U sibiřské armády. Vršovice: Nákladem Památníku odboje, 1922, s. 112–113, далее Krejčí). Здание снесено в середине тридцатых годов прошлого столетия. Из исторической застройки на противоположной городскому театру стороне Большой улицы в Иркутске сохранилось лишь непосредственно к штабу примыкавшее некрашеное кирпичное здание. Оно стоит практически в первоизданном виде, лишившись лишь балконов над парой входных дверей. Нынешний адрес: ул. Карла Маркса, 7В. Это теперь учреждение РЖД: Единый клиентский центр Восточно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания. А 1919 году и в этом здании было чехословацкое учреждение.

⁷ Части 1-го и 2-го чехословацких стрелковых полков располагались на тогдашней северо-восточной окраине Иркутска на Иерусалимской горе в просторных, новых, только-только в 1910 году построенных для восточносибирских стрелковых полков русских казармах, носивших название Красные. Должно быть, из-за цвета кирпичных стен. Частично сохранились. Район улиц Ядринцева и Пискунова. От месторасположения штаба до казарм улицами города не менее пяти километров.

⁸ Согласно сведениям иркутского краеведа Игоря Фефелова (личная переписка), речь идет о районе современной улицы Госпитальной. Здесь и сейчас большой больничный городок.

⁹ Имеются в виду предложения наступающих с запада большевиков.

¹⁰ Крейчи Франтишек Вацлав (Krejčí, František Václav, 04.10.1867–30.11.1941) — чешский писатель, журналист, переводчик и политический деятель. Социал-демократ. В 1919 году был руководителем первой официальной правительственной делегации, отправленной из молодой, только народив-

С таким настроением ждали мы начала сражения повстанцев с остатками колчаковцев, окопавшихся в центральной части города. Военным начальником города был генерал Сычев¹¹, человек больших слов, но малых дел. О самом Колчаке особенно и не вспоминали. Позже ходили разговоры о том, что он собирался передать свои властные полномочия Деникину или Семенову. Сам он пребывал в личном поезде, находившемся под охраной «союзных войск», под которыми разумелись чехословаки, потому что каких-либо иных союзнических частей в Сибири уже не осталось, кроме румын, итальянцев, поляков и сербов, присоединенных к нам. Под нашей охраной находился и поезд с золотом. Личная охрана Колчака его предала в Нижнеудинске и перешла на сторону повстанцев¹².

Повстанцы не были большевиками. Восстание стало последним выступлением сибирской демократии, так называемых земцев — членов разнообразных социалистических партий, увлеченных идеей создания под властью «Политического центра» государства Средней Сибири, которое могло бы стать буфером между советской властью и японцами. Идея не противоречила и тогдашним интересам советской власти, которая в тот момент не ощущала себя достаточно сильной для войны с японцами, и желала потянуть время.

шейся независимой Чехословакии в Россию разобраться с положением дел в чешской сибирской армии и решить вопрос о ее возвращении на родину. В книге воспоминаний (Крејќи, s. 71) оставил восторженно-ностальгическое описание Иркутска 1919-го, тогда города множества церковных куполов и шпилей, что в сочетании с низким понтонным мостом на месте современного массивного и высокого Кировского моста необыкновенно живописно смотрелись с вершины Глазковского холма: «Как тронемся [от вокзала], справа будет ограда железной дороги, а слева крутые склоны, за которыми наверху располагается предместье Глазково, а дальше леса и перелески. Почти сразу окажемся на мосту, и откроется перед нами вид города во всю его ширину и красу. Над великолепными водами Ангары встает Иркутск, точно так же, как встает пражское Старе Место перед глазами того, кто въезжает на каменный [Карлов] мост со стороны Малой Страны. Словно башни Тына [Тынского храма] с теснящимися вокруг него шпилями других староместских храмов, вздымается перед нами могучий кафедральный собор с несколькими куполами и рядом с ним слева колокольни других церквей. И как пражское Новое Место, раскинулся справа собственно Иркутск с доминирующим на его окраине костелом, своим видом напоминающим Вышеград, а чтобы сходство казалось совсем уже полным, влево вдоль лесистых холмов убегают воды Ангары, как воды Влтавы у Летны».

¹¹ Ефим Георгиевич Сычев (01.04.1879—07.11.1945), в декабре 1919-го генерал-майор. Из амурских казаков. Участник нескольких войн, в том числе Русско-японской. Не один раз отличался в бою. Человек крутого нрава, но при этом сторонник казацкой демократии и самостоятельности, за что после Февральской революции был отстранен от командования Амурским казачьим полком бароном П. Н. Врангелем, в ту пору начальником кавалерийской бригады. Активный участник белой борьбы в Сибири. С 1920-го в эмиграции — Харбин. Откуда за антияпонские взгляды и высказывания в 1935-м выслан в Китай. До конца своей жизни оставался энергичным русским патриотом и общественным деятелем. Умер в Шанхае.

¹² В январе 1920 года на станции Нижнеудинск адмирал Колчак предложил личному составу своей охраны (официальное название Конвой Верховного Правительства и Верховного Главнокомандующего) сделать выбор — остаться с ним или уйти. К величайшему огорчению адмирала, подавляющее большинство из сотни человек его охраны (по изначальному приказу от января 1919-го о создании конвоя, в нем должно было числиться 170) приняло решение покинуть своего главнокомандующего. Как написал один из непосредственных свидетелей тогдашних событий Павел Финк (Fink, Pavel. Mezi mohylami: Knihy Bílý admirál, díl druhý: Glossy a materialy: Ze zápisníku válečného korrespondenta. Praha: [s. p.], 1922, s. 24): «В действительности, необходимость разоружать охрану не возникла. Солдаты сами украсили себя красными ленточками и присоединились к местному гарнизону, усиленному партизанами из района реки Чумы».

Генерал Сычев между тем полагался на атамана Семенова и японцев и немедленно развернул бурную деятельность. Стены домов оказались залеплены воинственными манифестами, призывающими граждан к обороне. В городе находилось множество офицеров, которые, если бы организовались и пошли воевать, могли бы держаться очень долго, а возможно, и дали бы всему делу совсем иной оборот. Помимо них город переполняла пестрая смесь из целого легиона чиновников всевозможных министерств, бежавших из Омска, спекулянтов и просто сторонников старой власти. Другие манифесты обещали обществу скорое прибытие семеновцев и японцев, а само общество тешило себя тайной надеждой, «что братья чехословаки помогут». Всех офицеров и граждан, способных носить оружие, звали в ряды воюющих, а женщин — на службу в лечебные учреждения. Весь город охватила горячка, и казалось, будто и в самом деле генерал Сычев намерен обороняться «до последней капли крови».

На улицах было оживленно. Все наши учреждения работали в привычном режиме, и никто на нас не обращал внимания. Сами мы ходили, куда хотели, а наши грузовые автомобили с чехословацкими государственными флажками поминутно мелькали на улицах и даже свободно ездил через мост над рекой Ушаковкой, за которым уже начинались повстанческие заслоны, не встречая и там никаких препятствий и ограничений. Это был удивительный нейтралитет, во время которого пули время от времени весело свистели над головой и воздух наполняла зловещая музыка боя, к которому мы не имели права присоединиться.

В кругах колчаковцев царило что-то подобное самоуверенности и, даже можно сказать, воодушевлению. Манифесты электризовали воздух. Можно было видеть важных, солидных господ в богатых шубах, элегантных молодых людей и совсем просто одетые фигурки в чиновничьих фуражках, спешащие в свои учреждения и конторы. На рукавах у женщин замелькали знакомые нашивки красного креста. И у всех на лицах светилась готовность к делу, некая решимость, столь не свойственная обыкновенно облику русских. Свист пролетающих саней, грохот колес грузовых автомобилей, торящих путь в свежем снегу на проезжей части улицы, писк рожков и крики возниц смешивались в необыкновенный общий гомон.

Я шел по улице, с любопытством глядя вокруг. Мороз схватывал выдох прямо у губ и превращал в белый пар, который опускался белыми кристалликами на ресницы и жег глаза. У гостиницы «Модерн»¹³ стояла группа офицеров, а рядом кучка извозчицких саней, возницы которых, такие характерные и знакомые, о чем-то толковали чуть поодаль. И было очень интересно смотреть на эти две группы людей одного народа. Офицеры оживленно жестикулировали и громко, с видом людей безо всякой тревоги смотрящих в будущее, обсуждали ситуацию. Лица их излучали уверенность. Иногда кто-то в их группе раздражался веселым, здоровым смехом, и этот смех далеко разносился вдоль широкой улицы. Кружок возниц держался совсем по-другому, толковали они о чем-то вполголоса, и всякий раз, когда в группе по соседству раздавался взрыв смеха, кто-то из возчиков бросал грозный и огненный взгляд в сторону офицеров, взгляд, в котором читались безмерная злоба и неприязнь.

¹³ Гостиница «Модерн» — в советское время Дом труда. Здание на юго-восточном углу современных улиц Ленина и Карла Маркса (в 1919-м Амурской и Большой). Одно из немногих зданий в Иркутске, что сохранилось если не в первозданном, то в близком к изначальному виду. Украшено мемориальной доской с надписью: «В этом доме с марта по ноябрь 1920 года работал в Политотделе 5-ой Красной армии выдающийся чешский писатель и коммунист Ярослав Гашек».

У розоватого здания Русско-Азиатского банка¹⁴ остановилась повозка, нагруженная оружием, которую негромким гулом голосов приветствовала толпа служащих и молодых людей. Все сразу подались к повозке, на которой стоял офицер с двумя солдатами, и принялись бойко разбирать винтовки. Из здания вытащили на тротуар несколько ящиков с патронами, и чей-то могучий голос предложил разбирать их. Я сразу узнал голос Василя Иннокентьевича. Снедаемый любопытством, я подошел ближе. Васил Иннокентьевич с раскрасневшимся от мороза и возбуждения лицом раздавал целые охапки смертоносных патронов всем, кто только подставлял руки. А подставляли все. Брал винтовку и патроны молодой студент и какой-то худой, седой и старый чиновник, толстый лавочник в безразмерной шубе и ловкий торговый агент в элегантно меховом пальто петроградского кроя. Стали подходить люди и уж совсем небуржуазного вида, хватали оружие и исчезали быстро, как воры, бросая на прощание очень красноречивые взгляды в сторону кучки извозчиков, смотрящих на все это.

Все бросились за смертоносным оружием, некогда приготовленным для врагов, видя в нем успокоение, заруку безопасности и сохранения как своей жизни, так и благополучия, в котором до сей поры пребывали.

На другой стороне улицы собралось несколько рабочих, и они наблюдали за происходящим со скрытой, но очевидной иронией.

Васил Иннокентьевич опустошил последний ящик и стоял теперь, рукой утирая пот со своего лица. Взгляд его упал на меня.

— Ах, Адольф Войтехович!¹⁵ — крикнул он мне весело. — Видите, как все у нас опять закипело!

И его лицо приняло победное, восторженное выражение.

— К вечеру вооружим тысячи людей, — продолжил он, когда тротуар возле повозки окончательно опустел. — Организуем дружины добровольцев. Будем проводить обучение. Глазковские ничего не могут. Самой судьбой осуждены на бездействия, так как отрезаны у себя за рекой. А значит, угроза у нас только с одной стороны. И этот сброд за Ушаковкой мы разнесем в пух и прах. А что нового на западе? Какие у вас новости?

— Все в руках повстанцев¹⁶. Рабочие из Иннокентьевской¹⁷ идут на помощь Глазковским, — отвечаю лаконично.

¹⁴ Русско-Азиатский банк, в советские времена поликлиника. Здание с башенками на северо-западном углу современных улиц Ленина и Карла Маркса. Сохранило не только исторический облик, но и окраску. Все так же господствуют разнообразные тона розового и красного.

¹⁵ Отец автора книги Адольфа Земана в действительности носил имя Войтех. От него и образовано на русский манер отчество, лишнее раз подтверждающее автобиографический характер художественного повествования.

¹⁶ С начала декабря 1919-го вся Сибирь от Красноярска и до самого Иркутска оказалась в руках левых или, вообще, большевиков.

¹⁷ Станция Иннокентьевская, она же Иркутск-Сортировочный. Открытая в чистом поле на Транссибе в 1898-м и названная в честь святого, покровителя ближайшего монастыря (сибирского чудотворца — епископа Иркутского святителя Иннокентия Кульчицкого). Чуть меньше семи километров по прямой на северо-запад от месторасположения современной станции Иркутск, которую тогда еще только предстояло спланировать и возвести. Перед Русско-японской рядом со станцией Иннокентьевская был построен огромный военный городок или остановочный пункт (способный принять до четырех тысяч человек), и больше ничего. Иными словами, если и можно говорить о каких-то рабочих из Иннокентьевской в декабре 1919-го, то только о железнодорожниках и персонале, обслуживающем военный городок: пекари, сапожники и т. д.

— Рабочие? — рассмеялся Васил Иннокентьевич. — Дурачьё! Что они смогут против организованной силы?

— А Красная армия? — спросил я.

— О... ну, это совсем иное... — отвечал мне Васил Иннокентьевич, — эта банда, которая просто бессовестно, как вы сами понимаете, присвоила себе честное имя «армия», она, конечно, организованная, дисциплинированная сила. Но только где она сейчас?

— Не так уж и далеко, — сказал я, — Нагоняет наше арьергардное охранение и, возможно, достаточно скоро будет уже и здесь. Вы же наверняка знаете, что западнее Иркутска лишь одна наша третья дивизия и поляки¹⁸. Думаете, что после нашего ухода вы сможете тут удержаться?

Васил Иннокентьевич смерил меня неверящим и вместе с тем ледяным взглядом.

— Полагаю, и вам известно, что атаман Семенов также располагает весьма значительными вооруженными силами? А что касается японцев, то эти не дадут большевикам и шага сделать к Байкалу.

— Может быть, вы и правы, — возразил я. — Но только японцам я не верю. У них и без того полон рот забот с тем, чтобы удержать Приморье и Хабаровск. Этой зимой они определенно не способны ни к каким действиям. Их солдаты замерзают насмерть в дозорах, совсем не переносят морозов, да и вообще непривычны к такой кровопролитной войне. Кони у них дохнут и совсем никуда не годная артиллерия¹⁹. Ну а Семенов?

Тут я только пожал плечами.

— Ох уж, — засмеялся Васил Иннокентьевич. — Плохо вы знаете нашего атамана и его казаков. Читали его указ? Уже завтра здесь будет Скипетров²⁰ и его дикая дивизия²¹. Они-то уж сыграют с Глазковым в свою игру, уверяю вас. Нет, все будем биться до последней капли крови!

¹⁸ Речь идет о V дивизии польских стрелков, объединившей в конце 1918 года в Сибири польские национальные части, формирование которых, преимущественно из военнопленных, было начато еще Временным правительством в 1917-м. Находились, как и чехословаки, под французским командованием и были заняты главным образом охранной Транссиба и отходящих от него веток (Новониколаевск—Татарская, Татарская—Славгород, Новониколаевск—Барнаул). Прославились необыкновенной жестокостью во время карательных операций в этом районе Западной Сибири. См. также: Островский Л. К. Польские военные в Сибири (1904—1920 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 316. С. 88—92.

¹⁹ По всей вероятности, здесь будет верно привести мнение о боеспособности японцев другого участника русской Гражданской, ротмистра Зиновьева, возможно разбиравшегося в вопросе несколько лучше автора романа, так как Зиновьеву пришлось служить в 1920 году в Забайкалье в авиаотряде семеновских войск и непосредственно взаимодействовать с японцами. «Японская армия вообще производила отличное впечатление. Из всех родов оружия у нее выделяется пехота. Несколько раз мне приходилось наблюдать ее действие в бою. По своей стойкости, выносливости, спокойному и презрительному отношению к смерти японский пехотинец является одним из лучших в мире. Артиллерия также у японцев стоит на большой высоте. Кавалерия и авиация — много слабее. Японец — не кавалерист по духу и по натуре» (Каппель и каппелевцы / Сост. С. С. Балмасов и др. М.: Посев, 2003. С. 233; далее «Каппель...»).

²⁰ Скипетров Леонид Николаевич (04.04.1883—22.08.1956) — дворянин, русский военачальник, георгиевский кавалер. Во время Гражданской правая рука атамана Семенова. Умер в эмиграции в США.

²¹ Дикая дивизия — «дикими» в русской армии традиционно называли подразделения, составленные из «инородцев». В данном конкретном случае речь идет о частях, созданных атаманом Семеновым и составленных преимущественно из бурят и монголов. По сведениям Новикова (Новиков П. А. Национальные формирования антибольшевистских сил в Юго-Восточной Сибири (1917—1920 гг.) // Вестник ИРГТУ. 2004. № 4 (20). С. 31—38), в декабрьских боях за Иркутск принимали участие следующие части такого рода: «Из Верхнеудинска эшелонами перебросили Монгол-бурятский кон-

— Ну, Бог вам в помощь, — ответил я на это без особой надежды в душе, и сама собой вспомнилась «комбинация» инженера Махнова²². И какая ныне у всего могла быть в связи с этим подоплека. Что же, едет сюда Скипетров, и хорошо.

Тем временем откуда-то из-за угла донеслись звуки могучего, слаженного пения. В глубине улицы заблистали штыки, насаженные на винтовки, и загрели шаги строя.

Рота славных русских солдат двигалась по улице четким, ровным, механическим, тяжело падающим на мостовую русским шагом, в такт типичной солдатской песне, звеневшей на всю улицу:

Varaban gromko biot,
naša rota strojno idot,
naša rota strojno idot, idot, idot²³.

Васил Иннокентьевич просиял.

— Maladci, — повторял он с удовольствием. Васил Иннокентьевич словно не видел совершенного равнодушия на лицах солдат, которые пели какими-то пустыми голосами, лишеными всякого воодушевления, и шагали словно нехотя, механически, как стадо медведей на поводке.

Прямо перед нами рядом с ротой на тротуаре возникла могучая фигура офицера, идущего в ногу с солдатами.

— А, Махнов! Сокол наш! — воскликнул Васил Иннокентьевич.

Инженер Махнов как-то горько улыбнулся и помахал рукой. Наши взгляды встретились. Это был особый, словами невыразимый взгляд. Так на меня Махнов посмотрел и тогда во тьме, когда, расставаясь со мной, сказал свое простое «Proščajtě!». И не знаю, отчего вдруг в эту минуту меня охватило какое-то совсем незнакомое чувство печали и сочувствия. Я распрощался с Василием Иннокентьевичем и поспешил домой.

* * *

Дома на столе я нашел маленькую записку, написанную женской рукой. Была она от Марии Михайловны. Всего в нескольких словах она просила, чтобы я этим вечером к ней пришел.

Застал я ее необыкновенно серьезной и печальной. Молча она подала мне руку и указала на оттоманку.

— Мария Михайловна, что с вами? — спросил я участливо.

Она тяжело вздохнула и, глядя куда-то в пространство перед собой, начала быстро говорить:

ный полк, усиленный стрелковым батальоном Маньчжурского полка, телеграфной ротой, взводом артиллерии и тремя бронепоездами. Около 1000 бойцов прибыли в Иркутск 30 декабря 1919 г. и сражались до 4 января 1920 г.».

²² В предшествующей главе один из героев романа инженер Махнов в сильном подпитии признается рассказчику, что громкий телефонный разговор, который он вел за стеной и который слышала вся большая, собравшаяся в доме Марии Михайловны, невесты Василя Иннокентьевича, компания, был всего лишь «комбинацией». Разговором с самим собой, мистификацией, единственная цель которой — приободрить присутствующих хорошими новостями, в том числе и о походе семеновцев, и о решительных настроениях японцев.

²³ Все русские слова в тексте здесь и далее даются в латинской транскрипции оригинала, чтобы сохранить особое ощущение их необычности, которое хотел передать автор романа.

— Ох, тяжело мне. И страшно. А еще с того самого вечера²⁴ словно темная тень на меня легла.

Внезапно Мария Михайловна взволнованно схватила меня за руку и горячо сказала:

— Пожалуйста, не притворяйтесь. Вы же все чувствуете и все понимаете. Вы ведь давно знаете Васи́ла Иннокентьевича?

Я усмехнулся и коротко ответил:

— С самого моего приезда в Сибирь.

Он горько кивнула головой и тихо сказала:

— Да, я так и думал. Тогда, конечно, вы все сами знаете.

— Но, Мария Михайловна, я вас сейчас не очень понимаю, — сказал я с легким недоумением.

Она без слов встала, подошла к столику, вытащила из ящичка пачку писем и молча мне подала. Я в растерянности взял поданную связку, вытащил первое письмо и стал разбирать строчки. Оно было написано еще в Мариинске, и в нем описывал Васил Иннокентьевич свое участие в кровопролитных боях. Затем я прочел второе, третье и не мог не усмехнуться.

— Ну, теперь-то вы поняли? — сказала Мария Михайловна, и на ее щеках выступил румянец. — Лгал! Лгал, как рекрут, который пишет домой о боях, которых никогда и в помине-то не было, пишет, чтобы только вызвать к себе сочувствие. Ах, Боже мой, какой позор!

— Мария Михайловна! — попытался я было заговорить.

— Нет, нет! Не оправдывайте его! Это совершенно ни к чему! — воскликнула Мария Михайловна и горячо продолжила: — А ведь было время, когда я верила, верила, что он не такой, как другие. Когда сердце мое переполняла радость за него и таких же, как он, и когда мы все верили, что есть еще русские люди, которые могут спасти Россию. Вы же сами должны помнить, как все начиналось, какие были надежды. Да и вы сам в это верили!

Я грустно кивнул головой.

— И после этого такое разочарование. Наши склоки и обособленность привели к тому, что вперед выступили те, кто не мог забыть о старых золотых временах, и они выдвинули Колчака. Вы даже и не представляете, как нам было тяжело²⁵ в те роковые декабрьские дни²⁶ омского переворота. Но и тогда мы не поддавались отчаянию. Даже Колчак давал еще нам надежду. Казалось, что так может быть судьбе угодно, чтобы именно он стал спасителем Русской земли. И были мгновения, когда казалось, что солнце все-таки встает над Россией, а потом начался развал. Ах, Боже мой! И как же больно осознавать, что этому развалу способствовали напрямую именно те, кому так верил и кем так гордился.

Мария Михайловна умолкла.

²⁴ Невеста Васи́ла Иннокентьевича Мария Михайловна вспоминает все тот же, состоявшийся накануне вечер, во время которого инженер Махнов не только в порядке милосердия пускался в мистификации, но и совсем уже немилосердно намекал на то, что боевой путь жениха Марии Михайловны, колчаковца Васи́ла Иннокентьевича, пролегал скорее через штабы и кафешантаны, чем передовую.

²⁵ Мария Михайловна и ее семья разделяют левые идеалы партии эсеров, и свержение демократического правительства Директории и прихода к власти диктатора Колчака в конце 1918-го воспринимались в этой среде, как тяжкий удар общему делу освобождения России от большевиков с коммунистическим III Интернационалом и наднациональной идеей мировой революции.

²⁶ Так у Земана. Переворот, в результате которого пришел к власти диктатор Колчак, произошел в Омске 18 (5-го по старому стилю) ноября 1918 года.

Мне было тоскливо в полусумраке комнаты, и в голове веером проносились картины недавнего прошлого.

На улице позвонили. Мария Михайловна вздрогнула и бросила беспокойный взгляд на боковую дверь, закрытую тяжелой портьерой, потом быстро поднялась и, приоткрыв шторы, выглянула на улицу. После этого сейчас же обернулась и, сделав несколько шагов к двери, откинула портьеру и крикнула:

— Папа, Никита пришел!

В соседней комнате зазвучали шаги и хлопнула дверь.

Вид у Марии Михайловны был человека чем-то обеспокоенного, но в то же время и воодушевленного. Лицо ее стало решительным.

Вновь послышались быстрые шаги, и вошел отец Марии Михайловны, держа в руке белый листок бумаги. Увидев меня, он остановился.

— Ох, к чему недоверие, — улыбнулась Мария Михайловна, — чехи все-таки наши союзники²⁷.

Михаил Петрович мне подал дружески руку, после чего передал листок, на одной стороне которого были строчки, написанные на пишущей машинке. Это была копия одной из телеграмм, которые повстанцы на той стороне реки тайно рассылали, а потом размножали и распространяли. В них рассказывалось об успехах повстанцев, росте их сил, а также были призывы к жителям города сохранять спокойствие.

— Думаю, всей этой истории уже скоро конец, — коротко резюмировал Михаил Петрович. — Больше трех дней им не продержаться.

Сказав это, он тут же ушел к себе.

Я вопросительно посмотрел на Марию Михайловну, чувствуя, что тут какая-то тайна. Михаил Петрович был человеком левых взглядов и не поддерживал Колчака. Но кажется, он не бездействует, вовлечен в какой-то заговор и что-то подготавливает и в самом городе.

Мария Михайловна слегка покраснела и, вновь сев напротив меня, сказала негромким голосом:

— Не думаю, что вам нужны подробности, но все уже подготовлено. Переворот в самом Иркутске — дело решенное и произойдет сразу же, как только станет Ангара.

— А как же Колчак, Семенов, японцы? — я не мог не задать неприятного вопроса. Мария Михайловна лишь пожала плечами.

— У Семенова нет особого желания проливать кровь своих людей за Иркутск. Он же за байкальскими тоннелями сидит, как в крепости. А японцы? Вы в самом деле думаете, что их особенно занимает то, что тут у нас происходит? Держат в своих когтях Приморье, и этого им пока вполне достаточно. К тому же им совершенно ясно, что советская власть ни в какую настоящую войну с ними не пустится. Ну а Колчак?

Здесь Мария Михайловна только пожала плечами.

— Возможно, вы и правы, — меня все же не оставляли сомнения, — но разве вы не в курсе того, как энергично готовится Сычев, а с ним и весь Иркутск?

²⁷ Чехословацкое командование и политическое руководство с самого начала Гражданской было тесно связано с эсерами и в значительной мере разделяло социалистические и демократические взгляды этой партии. Взаимодействие не прекратилось и после колчаковского переворота, и не только политическое, до самых последних дней все снабжение чехословацких войск в России осуществлялось через посредство сети потребительских кооперативов, организованных и управляемых эсерами. См.: Vácha, Dalibor. *Ostrov v bouři — Každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918–1920)*, Praha, EPOCH 2016, s. 110–111.

— Все это пустое, заранее проигранное дело, — уверенно ответила Мария Михайловна. — Им не удержаться.

— А как же тогда Васил Иннокентьевич? — спросил я уже шепотом.

Мария Михайловна вздрогнула в ответ и, бросив тревожный взгляд на дверь, за которой со всей очевидностью был ее отец, быстро приложила указательный палец правой руки к губам. Лицо ее стало озабоченным. Потом она наклонилась ко мне и очень тихо сказала:

— Об этом я и хотела с вами с самого начала поговорить. Разошлись мы с отцом в этом вопросе. Васил Иннокентьевич поверил Колчаку, и его взгляды до такой степени стали несхожи со взглядами отца, что они совершенно поссорились. Боже, чем это все кончится? — с горячностью прошептала Мария Михайловна.

Я слушал ее с недоумением и никак не мог понять причин такого ее волнения. Но Мария Михайловна недолго держала меня в неведении.

— Я не сомневаюсь, что они проиграют, — продолжила она. — Сычев просто болтун, который в нужный момент убежит, как лиса. А что станет с армией, офицерами, чиновниками? Ведь все будет так, как всегда, у нас в России. При первых же неудачах их воодушевление погаснет, и придет уныние. И тогда их начнут голыми руками убивать прямо на улицах²⁸.

— Позвольте, Мария Михайловна! Неужели повстанцы будут мстить своим противникам так, как это делают большевики? Да и вообще, мне кажется, что даже в советской России уже нет такого разгула террора, какой был когда-то.

— Может быть, — пожала плечами Мария Михайловна, — говорят, что действительно так. Но кто поручится за отбросы общества, за разогорченный народ, который захочет отомстить за все пережитые страдания? Страшно мне, Адольф Войтехович! Страшно!

Ее голос дрожал. Она непроизвольно схватила меня за руку и воскликнула:

— Спасите, спасите Васи́ла Иннокентьевича!

В ее голосе было столько всеми силами сдерживаемой боли, едва ли не отчаяния, и неудивительно, что в конце концов ее нервы не выдержали необыкновенного напряжения, Мария Михайловна вся задрожала, глаза ее подернулись пеленой, и, упав лицом на раскрытые ладони, она горько зарыдала.

— Мария Михайловна, не надо! — вскричал я в совершенной досаде. Я был растерян и расстроен ее слезами, природу которых я так хорошо понимал, и был полон зависти к Василу Иннокентьевичу. Боже мой, как же мне ее было жалко. С какой радостью я бы отвел эти белые руки от ее лица и поцелуями осушил ее слезы, повторяя: «Ради бога, не плачьте! Клянусь, он их совершенно не стоит!»

Острое жало ревности жгло мою душу и в то же время необыкновенная жалость. Она его по-прежнему любит, продолжает любить, даже после того, как его человеческая сущность открылась перед ней в таком неблагоприятном свете. Какая же это загадка, женское сердце!

Мария Михайловна немного успокоилась. Я взял ее за руку и тихо сказал:

— Хорошо, Мария Михайловна! Я вам обещаю, что помогу ему, если он только окажется в опасности. Скажите лишь мне, почему он сам не бросит оружие, если понимает, что всякая борьба уже бессмысленна и что, участвуя в ней, он пусть и неявно, но борется и с вами, и с вашим отцом?

— Не верит мне! — ответила с отчаянием Мария Михайловна. — «Ты, Машенька, эти фантазии из головы выбрось», — только и сказал мне со смехом, когда я ему ста-

²⁸ Возможно, героиня романа вспоминает дни прихода к власти большевиков Центросибири в ноябре 1917-го, ставшие в Иркутске не менее кровопролитными, чем всем известные дни захвата власти большевиками в Москве.

ла говорить об опасности, дескать, «мы им всем дадим прикурить». Ни секунды не сомневается, что помощь придет от атамана Семенова и японцев. И искренне верит в хвастливые манифесты Сычева. Что будет?

— Ну, он уж как-нибудь обернется, — сказал я с легкой иронией. — Но что бы ни было, может на меня полностью рассчитывать. Он не первый, кому я помогал перебраться на другую сторону²⁹. Вот и сегодня вечером перевозят наши ребята нескольких переодетых офицеров к повстанцам. Бегут от Сычева из Иркутска, как крысы с тонущего корабля³⁰. Так что если понадобится что-то вроде этого Василю Иннокентьевичу, дорога есть и для него. А сейчас, Мария Михайловна, вы уже меня простите. Пойду.

Прощалась она со мной уже совершенно успокоенная, а я вышел на морозную улицу с острым чувством сильнейшего раздражения. Я был страшно зол на самого себя и немного на Марию Михайловну.

Темень сгушалось и становилась черной, непроницаемой массой, легшей на город. Электрический свет погас³¹. Я шел по самому центру проезжей части, потому что в темноте идти по полуразбитому деревянному тротуару было небезопасно и можно было просто сломать ногу. Я шел, впившись глазами в темень, и тело мое жгли одновременно холод снаружи и ощущение чего неприятного изнутри. Слабые огоньки мерцали только на главной улице, где за окнами некоторых учреждений и госпиталей теплились свечи.

Где-то далеко впереди раздался выстрел, глухое эхо отразилось от стены дома. Потом второй, третий... Несколько коротких очередей дал пулемет. Затем уже поблизости загрохотали ружейные выстрелы без всякого эха, и сразу несколько быстрых выстрелов в ответ. Тут и там отворялись окна, из некоторых дверей высовывались головы людей. Стрельба учащалась и велась где-то возле Ушаковки. Внезапно прямо над улицей просвистела пуля, головы исчезли за дверями, окна закрылись. Я ускорила шаги, а дома, раздевшись, сразу упал на подушки, утомление склеивало мне веки, и глухая музыка стрельбы навевала сон.

Глава XVI

Уже утром я узнал, что повстанцы предприняли со стороны реки Ушаковки атаку на город, которая была отражена. Бой продолжался несколько часов, и все это время над городом грохотали выстрелы и свистели пули. Но это была всего лишь только перестрелка. В полной темноте тяжело было провести какую-нибудь настоящую военную операцию.

Утром, когда уже рассвело, город снова ожил, и улицы заполнили обычные шум и движение, и даже большие, чем в иной другой день. И воспоминания не осталось о ночной стрельбе и неприятеле, который совсем близко, на самой окраине города уже развернулся в цепи и только выжидал удобного момента для атаки. Улицы кише-

²⁹ Имеется в виду левый берег Ангары, где находится в Иркутске железнодорожной вокзал и откуда под охраной чехословаков уходят поезда на восток.

³⁰ Офицер штаба по особым поручениям генерала Сирови капитан Йиндржих Скацел в своих мемуарах (Skácel, Jindřich. S generálem Sirovým v Sibiři. Praha: Obrození, 1923, s. 31, далее Skácel) вспоминает: «...в этот день [20 декабря] на сторону народной армии перешли глазковский полк и авиационная школа, от города их отделяла незамерзшая река, мост через которую был разобран».

³¹ Йиндржих Скацел о тех же днях пишет (Skácel, s. 31): «Город был темным, потому что была невозможна доставка угля с железнодорожной станции».

ли офицерами и вооруженными гражданскими, непрерывно сновали повозки, спешно организовывались новые госпитали, куда везли матрасы, набитые соломой, белье, посуду и прочее необходимое имущество. Мужчины торопились в учреждения, а женщины, завернувшись в пальто, спешили на базар, где, как ни в чем не бывало и ни на минуту не останавливаясь, продолжалась торговля. На углах улиц от мороза совсем желтые китайцы у своих импровизированных лотков заманивали проходивших мимо офицеров и обывателей криками:

— Kapitan! Papilosity. Šibko děšévo.

Настроение царило приподнятое. Неудачная ночная атака повстанцев, которая была легко отбита офицерами военной школы и кадетами, наполнила отвагой сердца защитников старого режима. Ждали лишь подхода семеновских войск, который обещали белые листки манифестов на углах домов. На них были слова генерала Скипетрова, заявлявшего, что «он приближается со скоростью бури и скоро всех врагов расшвыряет по сторонам». На лицах офицеров играли воодушевление и боевой настрой. Но особенно бросалось в глаза почти полное отсутствие на улице рабочего люда. Грубые кожаные сапоги словно смело с улиц.

Мороз спал, и закружился снежок. Около девяти часов утра со стороны Ушаковки опять загрохотали выстрелы. В ответ со стороны «Kladbiščenskoj hori», что расположена на восточной окраине города, раздался выстрел из пушки и эхом аукнулся над крышами домов. Артиллерия Сычева начала обстреливать Знаменское предместье. Главная улица была полна зевак, с любопытством прислушивающихся к тому, как выстрелы то приближались, то удалялись. Со стороны Знаменского предместья к штабу на рысях подъезжали группы казаков и одиночные связные, чтобы уже через несколько минут ускакать обратно с новыми приказами и указаниями. Грузные серые облака, полные снега, висели в небе. Мороз обжигал лицо и лез под ногти. В воздухе стоял непрерывный треск ружейных выстрелов, и время от времени звук пушечного залпа, словно грозная волна, проходилась над головами пешеходов, толпа которых удивительным образом все густела. Люди заполняли улицы, гонимые любопытством, с какими-то глупыми усмешками на лицах сбивались в кучки и воспринимали бой как некое театральное действо.

Грохот от едущего грузового автомобиля сотряс улицу. Спереди у него развевался большой чехословацкий флаг³², а внутри от быстрой езды тряслись и бились друг об друга несколько братьев³³ без оружия. Автомобиль примчался от Ушаковки и остановился перед нашим штабом. Мы сразу обступили машину и стали расспрашивать приехавших о том, как идет бой, потому что знали, что машина непременно должна была проехать линию передовой. Шла она из нашего госпиталя через Знаменское предместье и не могла не проехать по мосту, возле которого велся бой.

— Ну что? — уже допытывался кто-то особо нетерпеливый. — Побиты?

Кто именно, не говорилось, но все инстинктивно понимали, что речь о колчаковцах. Наши симпатии были безусловно на стороне повстанцев. Многих из их вождей мы хорошо знали лично. Во главе «народно-революционной армии», как само себя называло повстанческое войско, стоял Калашников³⁴, наш старый боевой товарищ,

³² Чехословацкий флаг — полотнище бело-красного цвета.

³³ Брат — общепринятое в среде чехословацких добровольцев в России самоназвание и способ обращения друг к другу: «брат», «брат поручик» и т. д., восходящее к традициям общеславянского спортивного общества «Сокол».

³⁴ Калашников Николай Сергеевич (04(16).05.1884—17.08.1961) — член партии эсеров, террорист, в годы Первой мировой офицер, после ноября 1917-го активный участник противобольшевистского движения, был в числе ближайших сотрудников чешского генерала Радолы Гайды, позднее один

воевавший плечом к плечу с нами с 1918 года. Кроме него, в числе земцев, готовивших восстание, было еще много хорошо нам известных руководителей демократического движения, которым мы могли вполне доверять. Отношение повстанцев к нашей армии было самым дружеским, и поэтому неудивительно, что симпатия к ним в рядах нашего войска все возрастала.

И поэтому когда один из братьев, выходя из машины, в ответ на заданный вопрос отрицательно покачал головой, заметно было общее огорчение. Настроение немного поднял другой, который сказал:

— Но они все равно свое возьмут. Сейчас они слишком слабы, но говорят, на подходе к Иркутску Карандашвили³⁵ со своими партизанами. Уж он-то тут концерт устроит.

— Этот лучше бы оставался там у себя, — заметил кто-то. — Вот уж, думаю, от кого ничего хорошего не жди. Сам не ведает, чего хочет. Немножко большевик, немножко монархист, но главным образом *gazbojnik*. Такой союзник может все только испортить.

— Да, — принялся рассуждать его сосед, — так или иначе, будут тут в конце концов, как и во всей России, большевики. Не верю я ни в какое такое восстание. Через неделю, вот увидите, будут здесь Советы.

— И Карандашвили комиссаром, — мрачно сказал тот, что говорил первым.

— Думаете? А вот сомневаюсь! — стал этим двум возражать какой-то третий брат. — Он будет против Советов воевать, как воевал против Колчака. Он сам себе и власть, и закон. И царством его вечно будет тайга.

Тем временем к штабу подъехал другой автомобиль.

— Слепые они, что ли? — немедленно стал жаловаться брат, сидевший рядом с водителем. — Не видят, куда стреляют? Нам в двух местах сзади машину прострелили.

Все обступили грузовик и стали с любопытством осматривать отверстия, просверленные пулями.

— Сегодня снаряд упал совсем рядом с нашим госпиталем, — сообщил водитель.

— Чепуха какая-то, — не дал ему договорить еще один из подъехавших. — У них есть пулеметы, но никто там не умеет с ними обращаться. Правда, говорят, кто-то из наших уже пообещал научить.

из руководителей иркутского восстания и командир Народно-революционной армии. После недолгой службы в РККА с конца 1920-го в эмиграции. Автор детских книг и мемуаров «They that take the sword». Умер в Нью-Йорке.

³⁵ Так у Земана — Karandašvilli. Речь, конечно же, о Каландаришвили Несторе Александровиче (26.06 (08.07).1876—06.03.1922), анархисте и одном из руководителей партизанского движения в Сибири. Человека с прозвищем Дед. Возможно, из-за густой и буйной черной бороды. Собственный комментарий Земана следующий: «Карандашвили — авантюристический вождь сибирских партизан. Был анархистом и не признавал вообще никакой власти, местный Совет позднее должен был с ним воевать». На деле после установления советской власти в Сибири Нестор Каландаришвили вступил в коммунистическую партию и погиб, служа большевикам, в дни Якутского восстания 1922 года. Его могила на Иерусалимской горе в Иркутске — центр коммунистического военного и гражданского мемориала. Возвращаясь к искажению самой фамилии партизана-анархиста, следует отметить, что это не особенность того, как это нагромождение кавказских согласных воспринимало европейское ухо чехов. Явление было всеобщим, и Карандашвили вместо Каландаришвили находим и в русских источниках. Например: «Приходилось также считаться с возможностью появления у деревни Голоустное сильного и весьма активного отряда партизана Карандашвили, который, по некоторым сведениям, еще накануне выступил с Верхоленского тракта в направлении на деревню Голоустное». Пучков Ф. А. 8-я Камская стрелковая дивизия в сибирском Ледяном походе. В кн.: Капель, с. 216.

— Нет, лучше во все это вообще не лезть, — заметил кто-то уже из нашего круга, — черт с ними со всеми.

— А я бы как раз и влез, — не согласился какой-то брат. — Тридцать наших парней, и конец всему анекдоту.

Новый шум надвигался с верха улицы. Стал слышен цокот конских копыт, и к штабу рысью подлетел солдат нашего охранного подразделения с каким-то спешным сообщением.

— Попали в наш госпиталь, — пробурчал он зло, соскакивая с коня. — Убита одна сестра, и несколько ребят ранено.

— Свиньи! Клизму им надо дать, а не пушки, — выругался и исчез в двери.

— Вот вам и весь нейтралитет, — сердито сказал тот, кто минуту назад так хотел воевать. — Я же говорю, взять немного наших ребят, и конец. Отмолотить всех, как овес, и делу конец. Нет ничего лучше, чем навести порядок³⁶.

— Так-так, — кто-то охотно поддакнул, — и точно, без побелки дело не пойдет.

Тут кто-то из братьев, заслоняя глаза от солнечного света рукой, приставленной ко лбу, крикнул:

— Ребята, гляньте только, япошки. Куда это они направились?

Все посмотрели туда, куда он указал, и в самом деле увидели роту японских солдат, марширующих в сторону Знаменки, где все это время не прекращалась яростная стрельба. Треск ружейных выстрелов усиливался, и пушки непрерывно стреляли одна за другой. И вдруг все смолкло. Когда через полчаса я вновь оказался у гостиницы «Модерн», там царило неопишное оживление. Стрельба прекратилась, и сейчас же улица заполнилась толпами спокойно и беззаботно гуляющих людей, которые имели такой вид, как будто бы они и знать не знали, что нечто особенное совсем недавно происходило в городе. Лица в толпе светились каким-то внутренним удовлетворением, слышалась громкая речь, и ото всех веяло ничем не омраченной радостью, что принес тихий и спокойный зимний вечер, который, словно желая сделать совсем уютным, внезапно осветили огни электрических фонарей. На электростанцию³⁷ удалось доставить немного дров за счет принудительного урезания домашних запасов, превышающих норму.

Было очевидно, что атаку повстанцев вновь удалось отбить.

Несколько солдат во главе с офицером вели шестерых пленных в коротких кожных либо в черных блестящих кожаных šubáčh, которые так любят здешние машинисты, кочегары и вообще рабочий люд. Пленные оглядывались, хмуро смотрели по сторонам и время от времени бросали злые взгляды на тротуары, по которым прогуливалось общество. Один из них был затянут в кожу с головы до ног, как шофер, и из-под

³⁶ В тексте Земана используется любопытное слово, рожденное в среде чешских добровольцев во время Первой мировой на Украине и получившее в их среде самое широкое распространение. Vyblit или просто bílit, и буквально переводится как «провести побелку, побелить». Для солдат-чехов оно стало означать «приведение всего в порядок», как полагает Франтишек Лангер, «потому что все помнили, как с побелки украинской хаты начинали хозяйки наведение в хозяйстве чистоты» (Langer, František. Z válečného slovníku. Naše řeč, volume 4 (1920), issue 4, p. 121–124.)

³⁷ Электростанция в Иркутске располагалась на улице Спасо-Лютеранской (ныне Сурикова) рядом с главным храмом города — Казанским православным собором, позднее разрушенным до основания большевиками. Капитан Скацел (Skácel, s. 15) — помощник командующего чехословацкими частями в России — оставил забавные воспоминания о том, что при взгляде с горки на другом конце города Сукачевской роши, где на одной из тамошних дач квартировал Сирови, купол собора полностью закрывал трубу электростанции, и, таким образом, когда из трубы шел дым, издали казалось, что курится сам собор. Прямо маковка (Сукачевская роша — район современных улиц Карла Либкнехта и Советской).

черной кожаной фуражки на лицо ему текла кровь. У него были бледное лицо и неверная походка. Но никому его не было жалко.

Тремя домами ниже на улице перед высоким зданием стояла группа людей, преимущественно женщин. На флагштоке на втором этаже развевался грязноватый белый флаг, на котором алел красный крест. Люди обступили пару-тройку забрызганных кровью саней, на которых привезли раненых. Их уносили в открытые двери госпиталя.

Невольно смешавшись с толпой, я вслушивался в обрывки долетавших до меня разговоров.

— Наподдавали им zdórovo! — смеялся какой-то однорукий старик, опираясь здоровой рукой на палку. — Слышали, да?

— А как они убегали, когда узнали, что идут японцы! — говорил какой-то молодой человек с чиновничьей фуражкой на голове, у которого на груди черной курт-кі небрежно, на манер карабина, висела винтовка³⁸. — А эти японцы и в бой даже не вступили.

— Ну, эти уж могли бы и дома сидеть, — заметил мрачно какой-то гражданин. — Одному Богу милосердному известно, отчего меня воротит от одного только вида этих обезьян. Ничего хорошего от них нам не будет.

— Точно, точно, — сразу поддакнули ему два или три человека. — Пропала наша Русь. Сколько иностранцев понаехало. И ведут себя словно у себя дома. Япошки, чехи...

— Ё́s ty, — пихнул его кто-то в бок, глазами указывая на меня, — так-то их уважаешь? А ведь они союзники наши. Спасти нас пришли!

В его голосе чувствовалась ирония и в мимолетном взгляде, который он на меня при этом бросил, я увидел усмешку.

— Ну, союзники и союзники, — пробурчал в ответ тот, кто говорил первым.

— Да, идут они все к черту, — проворчал желчно какой-то инвалид без ноги, опиравшийся на палку. — Зачем они вообще тут нам нужны?

— Это ты верно говоришь, dađka, — одобрил его парень с винтовкой на груди. — Уж как-нибудь сами без них без всех здесь разберемся.

— Без чехов и без япошек...

— Мамаши их уж заждались. Пусть плывут на пароходах, качаются на волнах.

— И с Богом, голубчики, — осклабился уже открыто инвалид за моей спиной. — Затосковались, ну и давайте ездайте себе...

Тоска и в самом деле охватила мою душу. Но не от иронии этих людей, которой они так хотели ранить мое сердце, а от острого ощущения страшной слабости России, которую мотал и рвал грозный вихрь революции, как тряпку. Конечно, была и толика правды в иронических словах русских. Но что они от нас хотели? И чем им в самом деле можно было бы помочь? Понимают ли они сами, куда их самих ведет революция, понимают ли, куда гонит их этот страшный ветер, не интересуясь тем, что у них в головах? Посмотришь, и только мельтешит вокруг, как в праздный воскресный день, масса каких-то людей без цели и без дела. Что они все хотят, о чем думают, куда стремятся? И кто они, вообще, такие? Русские, большевики, меньшевики, эсдэки, кадеты или кто? Буржуазия или пролетариат?

— Zdravstvujtё! — оборвал бег моих мыслей знакомый голос за спиной. Это был инженер Махнов. Его лицо, побуревшее от мороза, имело какое-то очень задушевное выражение. Он был весь в пыли, и даже по лицу разбегались черные точки. На плече у него висела винтовка.

Я пожал ему руку и, улыбнувшись в ответ, спросил:

— Из боя?

³⁸ Карабины поперек груди, а не на спине имели обыкновение носить кавалеристы.

— Da-s, — ответил инженер Махнов, — можно это и так назвать. Прячешься за углом дома и стреляешь неизвестно в кого. Ни мы их не видим, ни он нас. Только патроны понапрасну тратим.

— Кажется, они пытались сегодня перейти в наступление? — осторожно спросил я.

— В наступление? — мрачно усмехнулся инженер Махнов. — Да просто хотели отогнать нас подальше от моста. Поставили там несколько пулеметов и стреляли по нам из окон. А из окопов, которые они вырыли на берегу, никто и не подумал выходить. Очень сомневаюсь, что начнется что-то настоящее до того, как к ним придет подкрепление. Пока Ангара не замерзла, мы о-го-го. Но уж потом...

— Думаете, что не удержаться вам? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Нас какая-то горстка. Сколько такая может продержаться? Затопят нас, как море. Люди к ним подтягиваются со всех сторон. Один большой, настоящий бой, и они накроют город, как лавина. Никто их не остановит. Для этого надо держать оборону вдоль всего берега, а какими силами?

— А почему же вас так мало? — не мог я не удивиться. — Ведь столько добровольцев. Вот Васил Иннокентьевич...

— Да помилуйте! — отчаянно воскликнул инженер Махнов. — Какие уж там добровольцы? Бабы, а не добровольцы с вашим Василом Иннокентьевичем во главе.

Инженер Махнов с отвращением сплюнул. Вместе мы дошли до угла дома, рядом с которым возле мальчика, продававшего газеты, собралась кучка людей. Инженер Махнов внезапно оживился и, положив мне на плечо руку, прошептал:

— Видите, волка только помяни, а он уж за гумном!

— Zdravstvuitě, gaspada! — закричал Васил Иннокентьевич, размахивая газетой. — Вы уже читали? Японцы только что отправили из Читы четыре эшелона с артиллерией как передовой отряд. Заявили, что не допустят переворота в Иркутске. Семенов сам перешел в подчинение Колчаку и предоставляет в его распоряжение все свои силы. Адмирал...

— Да перестаньте, — недовольно рявкнул инженер Махнов, прерывая проповедь Васи́ла Иннокентьевича, — все это болтовня.

— Болтовня? — обиженно загудел в ответ Васил Иннокентьевич. — Нет, вы уж позвольте мне, sudaг мой, верить официальным телеграммам японского штаба.

— Официальным телеграммам... — резко засмеялся инженер Махнов. — Вы в боях-то бывали, Васил Иннокентьевич? На фронте, где-нибудь в Карпатах или Галиции, в первый год войны? Там быстро бы поняли цену «официальных телеграмм» и отучились им верить.

— Верить можно только смерти, — закончил инженер Махнов.

Васил Иннокентьевич прикусил губу и сердито стал запихивать газету в нагрудный карман своей шинели, когда что-то заурчало над нашими головами, словно проснулась где-то огромная невидимая муха. Урчание набирало силу и перешло в громкий рокот, который вызвал волнение в густых толпах, начавших сами собой расплзаться с тротуаров на проезжую часть. Высоко в небе звенел винт аэроплана. Несколько женщин, завизжав, бросились наутек. И немедленно всю массу народа охватила страшная паника, какой-то невиданный ужас овладел всеми, и он обратил всю нас окружавшую массу не лишенных индивидуальности людей в безумное стадо, трясущихся, потерявших разум существ, бегущих, не разбирая дороги, от чего-то неведомого и грозного. Отчаянным криком женщин и детей вторили сотни мужских голосов, где-то зазвенело окно, кто-то кинулся в подворотню, кто-то в ближайшую лавку или напрямиком через дорогу, по которой метались извозчи́чьи кони и отчаян-

но гудели рожки автомобилей, в узкие боковые улицы. Кто-то крепко сжал мне руку, и мы остались в одиночестве стоять на тротуаре. Рядом со мной был инженер Махнов, который со своей обычной спокойной и мрачноватой усмешкой смотрел на аэроплан, также спокойно плывший в небе над городом. А вокруг нас была мертвая тишина. Ни одного человека.

Исчез и Васил Иннокентьевич.

Аэроплан уже был прямо над нашими головами, из него вниз посыпался рой белых листочков. Через минуту, вновь покружив над Глазковым, он исчез.

Понемногу из домов начали вылезать люди, и целая стая мальчишек выскочила на дорогу подбирать белые листочки, которые, медленно кружась в воздухе, беззаботно опускались на землю. Тротуары вновь стали наполняться людьми. Вновь появились китайцы и стали опять раскладывать свои типичные переносные лотки с папиросами, зазвенели полозья, засвистели сани и зашумели автомобили. Вновь на улицы возвращались шум и суета, и люди со счастливыми выражениями на лицах, словно удивляясь сами себе и сами над собой посмеиваясь, будто не веря тому, что с ними было, опять потянулись праздно по тротуарам. В первые минуты всеми овладел страх, что из аэроплана посыплются бомбы, потому что ни у кого не было сомнений, что аэроплан повстанческий. В самом начале восстания все авиационное подразделение³⁹ перешло на сторону повстанцев. Но оказалось, что повстанцы были много великодушнее генерала Сычева, который приказал обстреливать Знаменку из пушек. Посредством аэроплана повстанцы лишь разбросали размноженные на печатной машинке свои собственные телеграммы, которые рассказывали о том, как ширится восстание на западе⁴⁰.

И так судьбе было угодно, чтобы эти их телеграммы засыпали улицы именно в тот момент, когда начали продаваться на этих же улицах свежие местные газеты, изо всех сил скрывавшие истинное положение дел.

Эти белые листочки собрали целые ватаги иркутских мальчишек, немедленно сделавших листочки редкостью и предметом ходкой торговли. В результате творились легенды, сообщенные новости преувеличивались, и в городе настал хаос в мыслях, когда никто уже не мог сказать, что же происходит на самом деле. Зато в демократических и рабочих кругах, куда постоянно через тайные каналы связи приходили новости с другой стороны реки, царило абсолютное спокойствие, затишье, которое бывает перед бурей.

— Nu-s, prošcaitĕ, Адольф Войтехович, — сказал, расставаясь со мной, инженер Махнов.

— А как же наш Васил Иннокентьевич? — спросил я весело.

— Сверяет «официальные телеграммы» с повстанческими, — язвительно ответил мне инженер Махнов.

Глава XVII

Снег падал на замерзшую землю и садился на шинели людей, сгрудившихся за опорой моста и укрывшихся за повалившейся набок деревянной будкой или за большой грудой гравия, засыпанной снегом. Он летел в глаза, упрямо смотревшие вперед, за белую гладь замерзшей реки, на другой берег, который едва вырисовывался сквозь не-

³⁹ Смотри выше комментарий Скацеля.

⁴⁰ Здесь — между Красноярском и Иркутском.

большую метелицу в утренних сумерках. Во дворе ближайшего дома кипела в котелке вода и постоянно заваривался чай, и туда время от времени уходили с позиции люди согреться горячим напитком. Здесь проходила первая линия иркутской обороны⁴¹, отвечавшей за мост через реку Ушаковку, ее занимала инженерная рота инженера Махнова, оставшаяся верной колчаковским властям города, потому что, запертая со всеми в городе, не имела другого выбора. Некоторые солдаты спали, завернувшись в полушубки, другие, замерзнув, просыпались и, приподнявшись, разминали заиндевевшие конечности.

— Черт бы все побрал, — с отвращением сказал один из солдат, — целую ночь ни минуты покоя. Палят Господу Богу в молоко, чтобы только человек не спал.

— Я уже два дня без сна, — пожаловался его сосед, — а смены все не видно!

— Бах! Да кто же нас сменит!

— Да что же мало людей, что ли? В одном офицерском полку, говорят, человек триста, да еще и дружина формируется.

— А ты, простак, думаешь, что она формируется нам в помощь?

— А кому же еще? Отправили нас мерзнуть без смены и воевать за них!

— Правильно говоришь, — зазвучали голоса справа и слева. — Что нам за дело до всего этого? Да никакого. Один другого убиваем, а для чего? Лучше бы собрались да и ушли отсюда. Пусть кому надо, тот сам и охраняет мост, тем более что смысла никакого. Не пойдут они по мосту, а перейдут по льду, как только окрепнет.

— И что тогда, ребята, будет, а?

— А что будет? Да снимем фуражки и скажем товарищам: «Добро пожаловать!»

— Тсс! — раздалось с краю, и кто-то кивнул головой в сторону двора, из него выходил Махнов.

Махнов с красным от мороза лицом шел сгорбленный, засунув руки в рукава кожуха. Подошел к позиции у моста, окинул все внимательным взглядом и, кивнув головой вместо приветствия, сказал с быстрой улыбкой:

— Что, дурную нам задали ночку?

— Дурную, господин поручик, — отозвался какой-то солдат.

— Да, у самовара было бы получше.

— А сменить нас не придут? — спросил еще один солдат.

— Жду приказа с минуты на минуту, — ответил инженер Махнов, непроизвольно покусывая мундштук потухшей папиросы. — Еще чуть-чуть терпения, молодцы!

— Ждать — это можно, — забурчали мрачно солдаты. — Да только ноги уже не держат и глаза уже не видят. Два дня в снегу лежишь и в снег глядишь. Откуда силы?

Инженер Махнов успел только пожать плечами, как вдруг какой-то солдат, лежавший за каменной опорой моста, глухо вскрикнул:

— Ого! Там что-то движется! Слева!

Все напрягли зрение и слух. И в самом деле на противоположном берегу как будто двигалось несколько серых пятнышек, расходясь одно от другого. Наступила полная тишина, которую не нарушал ни один звук с другой стороны реки. Пока внезапно где-то далеко необыкновенно жалостно не завyla собака. Как будто человек стал кричать от боли. Необъяснимая дрожь пробежала по спинам солдат. Все до единого вглядывались в белые просторы перед собой, но там ничего уже больше не шевелилось. Инженер Махнов плотнее завернулся в кожух и в веере метелицы растворился за углом большого дома, в котором стояла его рота.

⁴¹ Современный район улиц Октябрьской Революции и Фридриха Энгельса (Шелашниковская и Жандармская).

— Собачья погода, — вновь стал ругаться тот самый солдат, что начал разговор перед приходом офицера. — Сегодня, кажется мне, будет тут жарко. К ним вчера подошло подкрепление. Матрена говорила, что монтеру с электростанции, с которым дела у ее мужа, принесли самые точные сведения с той стороны. Карандашвили уже с ними.

Солдат кивнул головой в сторону противоположного берега.

— Вот кого нам всем надо! — сказал кто-то. — Сказка, а не человек.

— А за кого он? — спросил первый солдат. — За Советы или против?

— За крестьян! Русь наша — страна крестьянская! Вот что он говорит. И власть потому должна быть мужицкая. А в Советы веры нет.

— Да, один только черт их и разберет. Этот за Советы, этот за мужиков, и этот за учредительное собрание. Грызет один другого, как бешеные псы. Уж кончить бы пора.

— Їš tu, рассуждаешь, как наш еп̆жен̆уг!

— Поручик-то, сокол-то наш! За ним хоть в огонь, хоть в воду. Если бы не он, я бы давно уже все бросил и перебежал на ту сторону, ей-богу!

— Да, таких мало, — согласились все, и тут вновь глухо вскрикнул солдат у каменной опоры:

— Ого! Ребята, тише!

— Чего там?

— А вон... глядите, там... серая полоска! Сдается мне, что-то на нас лезет...

— Петя, — позвал солдат своего долговязого товарища, — а ну беги скорее к еп̆жен̆еги, доложи!

Но тут в утреннем сумраке за спиной солдата что-то само звякнуло металлом. И знакомый голос спросил:

— Что происходит?

— Да кажется, лезут на нас, — ответил солдат, почесывая затылок, как будто сам себе не веря.

— Ну и отлично! — сказал инженер Махнов. — Будет им что вспомнить!

И быстро развернувшись, мгновенно исчез за углом дома. И тут же из двора без единого звука и шума посыпались серые фигурки, они на брюхе расползались вдоль всего берега у моста и формировали цепь. Там уже стояло несколько пулеметов, наведенных на мост и готовых дождем пуль укротить любую змею из людей, что попробует по нему проползти.

Серая полоска за рекой на какое-то время скрылась в порывах метели, но теперь стал слышен тихий шорох чего-то неуклонно приближавшегося. Снег густел, и ничего уже не было видно за шаг перед собой. Но внезапно последний сильнейший порыв ветра словно откинул снежную завесу, и вся река открылась, как на ладони.

— Эх... svološ! Куда полезли! — выкрикнул какой-то солдат, прижал винтовку к щеке и выстрелил. Гулкое эхо покатилося по глади реки и тут же утонуло в грохоте выстрелов, загремевших и с той, и с другой стороны. Известка с тихим шелестом посыпалась со стен дома, стоявшего за позициями, и пули зацокали, сплющиваясь о кирпичи.

Неприятель успел подобраться совсем близко к этой стороне реки и с близкого расстояния открыл яростный огонь. Начался отчаянный бой. Застучали пулеметы и стали засыпать свинцом цепь темных фигурок перед собой, но цепь не отступала. Более того, за ней были видны черные пятнышки накатывающейся подмоги. Инженер Махнов с папиросой во рту, припав к большой куче щебня, стрелял из легкого карабина, время от времени отвлекаясь, только чтобы дать короткий приказ. Какие-то раненые с громкими стонами ползли по улице за угол дома. Несмотря на яростную

стрельбу, не прекращавшуюся уже час, неприятель оставался на месте. Ответная стрельба с его стороны только усиливалась, и было видно, что ряды его только растут.

Внезапно слева послышались чьи-то быстрые шаги.

— Прапорщик! Куда? — крикнул Махнов.

— Обходят нас! Сильная колонна переходит реку слева. Мост не удержим.

Губы инженера Махнова зло скривились.

Потом он сунул два пальца в рот и звонко свистнул. Почти сразу со двора ближайшего дома отозвалось ржание коня и стук копыт. В воротах появился казак.

— Ты, bratec, — быстро сказал Махнов, — гони в штаб. Доложи, что мы должны отступить от моста. Отойдем к базару на Ланинскую улицу⁴².

Казак хлестнул коня, развернулся и понесся вниз по улице.

Инженер Махнов негромко скомандовал не спеша отходить от моста. Сосредоточиться у дома на улице и по ней уже быстрым маршем уйти на Ланинскую. Ланинская улица пересекает главную⁴³ и налево от перекрестка с главной ведет к Ангаре, а направо — к базару.

Сам Махнов со взводом своих ребят остался у моста и усилил стрельбу, прикрывая отход основной группы. В душе он потешался над неприятелем, который все не поднимался в штывовую. Очевидно, не догадываясь, как мало людей на этой стороне. За Кладбищенской горой грохнул пушечный выстрел, в небе раздался свист снаряда, и шрапнель рассыпалась прямо над рекой.

— Maladci, — рывкнул Махнов, а потом весело свистнул.

— Еще огня, братцы! — шепнул он своим, и звуки выстрелов слились в бешеную трескотню. Между тем что-то неумолимо приближалось не спереди, а слева. Раздалось несколько выстрелов с той стороны, пора! Махнов негромко дал приказ отходить. Все поднялись и стремглав кинулись в улицу, по которой только что ушли все остальные. И все замерло за их спинами.

Неприятель, пораженный внезапным прекращением стрельбы и наставшей сразу тишиной, некоторое время выжидал. Только когда высланные вперед разведчики подползли к самому берегу и увидели, что никого перед мостом нет, началось движение и на реке, и на самом мосту. Скоро улица, ведущая в город, оказалась заполнена людьми, как во время демонстрации. Одновременно слева по боковой улице шел еще один поток прямо к базару.

Неудержимо, как стая голодных волков, текла масса повстанцев в город, с необъяснимой легкомысленностью, без передового охранения и разведки. Закопченные люди в простых рабочих одеждах, солдаты в серых армейских шинелях, школьники, мужики в кобухах — все это двигалось вперед. Только когда поток, шедший по боковой улице, уже вышел на широкую базарную площадь, кому-то пришло в голову, что надо бы развернуться в цепь. Но не успела она растянуться среди брошенных продавцами деревянных прилавков, как отворились врата ада, и началась стрельба сразу с четырех сторон. Пули летели из окон, окружавших рынок домов, из-за угла каждого дома строчил пулемет, и рвались повсюду на площадь ручные гранаты.

В это время главный поток повстанцев вышел к Ланинской улице. И только двинулся поперек мостовой, как ее тут же залил безумный огонь сразу с двух сторон. Застрекотали пулеметы, и начали взрываться ручные гранаты, вспышки выстрелов сверкали на крышах и в окнах домов, и, наконец, на наступающую массу кинулся

⁴² Ланинская улица — современная улица Декабрьских Событий. Базар — Хлебный рынок. Находилась между современными улицами Тимирязева и Дзержинского (Преображенская и Арсенальская).

⁴³ Большую улицу (ныне Карла Маркса).

отряд разъяренных казаков. Страшная паника охватила людей, те, что были впереди, побросали винтовки и, словно обезумев от ужаса, кинулись вспять, давая уже тех, кто еще продолжал движение вперед. Но на счастье, в задних рядах быстро осознали, что происходит, а после известия о том, что левая колонна также попала в засаду на базаре, уже не раздумывая, кинулись наутек. Таким образом, улица очень быстро опустела, и вся толпа, еще недавно текшая в город, с дикой поспешностью, вопя и ругаясь, устремилась назад к мосту и реке, а сзади ее преследовали казаки, рубя шашками направо и налево.

Какое-то время над городом еще грохотали пушечные выстрелы, которым отвечали глухим эхом взрывы снарядов, вспахивавших широкую ледовую гладь реки и оставлявших в ней огромные дыры. Но вскоре и на Ушаковку опустилась тишина, и взвод солдат вновь занял позиции перед мостом. Теперь это был отряд юнкерской школы. Инженер Махнов и его рота дождались наконец смены.

* * *

Весь город был охвачен воодушевлением. Улицы, сперва малолюдные, наполнили любопытные обыватели, обступавшие солдат, возвращавшихся с передовой или собиравшихся у госпиталей, куда свозили раненых. Казаки, свистя нагайками, гнали группки пленных к казармам. С тротуаров их провожали по большей части неприязненные, но иной раз и едва ли не сочувственные взгляды. У гостиницы «Модерн» группа штабных офицеров громко обсуждала закончившийся бой, хотя ни один из них в нем не участвовал. К ним из гостиницы выбежал полковник Артемьев⁴⁴ и, махая листком телеграммы, звучно прокричал:

— Gaspada! Победа за нами. Скипетров уже перед Иркутском. Через четверть часа будет здесь.

— Ну, будет теперь музыка! — прозвучали веселые возгласы и смешки. — Недолго царствовал gaspadin Kalašnikov в Глазкове. Дикая дивизия ему срежет generálské lampasy!

Всех охватило что-то вроде опьянения.

— А пойдёмте к Ангаре! Хотя бы издали поприветствуем спасителя! — крикнул кто-то в толпе, множившейся прямо на глазах, и все спешно двинулись к Александровскому саду⁴⁵. Весть о том, что Скипетров уже близко, как молния, разнеслась по городу, и сразу море народа ринулось к берегу Ангары, по которой плыли грузные льдины, налетающие одна на другую, примерзавшие одна к другой и составлявшие таким образом целые ледовые поля. Было ясно, что-то река вот-вот уже станет. И говорили, что ниже города она уже стала и замерзла точно так же, как более мелкая и медленная Ушаковка.

Весь берег от Александровского сада до самой Троицкой улицы⁴⁶ чернел толпами людей, которые пытались разглядеть на другой стороне реки приближающиеся эше-

⁴⁴ Артемьев Василий Васильевич (14.06.1862—17.12.1929) — на самом деле в ту пору давно уже генерал-лейтенант. Командующий Иркутским военным округом. Русский военачальник, участник Первой мировой, георгиевский кавалер. После падения Иркутска какое-то время продолжал службу на разных должностях в белом Приморье. Эмигрировал в 1922 году. Умер в Югославии.

⁴⁵ Красивый сад с монументом императору Александру III на юго-западной оконечности Большой улицы. Идет вдоль правого берега Ангары. Вход со стороны Большой (Карла Маркса) примерно в полукилометре ходьбы от гостиницы «Модерн».

⁴⁶ Троицкая улица — следующая от набережной улица, идущая параллельно берегу Ангары. Ныне улица 5-й Армии.

лоны Скипетрова. Снег не прекращался, и лишь с большим трудом его завеса позволяла разглядеть дальние склоны и то, что под ними находилось.

Скипетров объявился со своей дикой дивизией лишь к полудню, и действительно это было похоже на бурю. Весь в облаках белого пара и черного дыма, прямо к станции подлетел бронепоезд, и тут же следом за ним второй. Семеновцы высыпали из вагонов и сейчас же быстро развернулись в цепь. И сразу, как львы, пошли вперед, осадили крутой склон и вошли в Глазковское предместье. Звучное «угá», грохот винтовочных выстрелов и взрывов ручных грант, регулярные пулеметные очереди и тяжелое дыхание паровозов — все это долетало сюда, до противоположного берега. При этом гром боя смещался все больше вправо⁴⁷, тем самым демонстрируя победную поступь семеновцев.

— Ојој, — потешались зеваки на этом берегу, — выкурили их, словно ос. Смотри, как бегут!

И действительно можно было видеть темные фигурки, мерцавшие на покрытом снегом склоне у вокзала, которые все дальше и дальше отодвигались от эшелонов и города. Бой шел уже час, но стрельба и не думала прекращаться, она усиливалась. То со стороны отступающих, то наступающих. А снег все густел, противоположный берег возникал своими смутными очертаниями лишь на мгновения, когда ветер вдруг разрывал белую завесу. Стрельба, казалось, уже велась везде, и даже у самих семеновских эшелонов. Она перерастала в один адский рев. И тут явился очередной резкий порыв ветра, и вид на дальний берег на миг очистился.

— Эге, а это кто там бежит? — закричал кто-то уже из наших ребят. — Сдается мне, к ним заходят в тыл.

Кто-то приложил ладонь к глазам, взгляделся и тоже крикнул:

— Да не отступают ли?

— Не может быть, — глухо откликнулось сразу несколько голосов. Но вьюга опять заволокла обзор, и в медленно наступающих сумерках стало совсем уже невозможно следить за продолжающимся боем. Да и стрельба на другой стороне реки стала просто опасной, уже несколько пуль оттуда прилетело и к нам. Все голоса смолкли. И скоро набережную словно вымело. Лишь там и сям прятались за углами домов одинокие любопытные, напрасно пытаясь что-то разглядеть в густеющем сумраке, в котором еще долго не смолкал грохот боя на другой стороне реки, треск выстрелов и монотонный рокот пулеметов, что лишь иногда с каким-то отчаянием разрывал на секунду гудок паровоза, за которым следовал его же тяжелый выдох.

— Должно быть, жарко там у наших на вокзале, — сказал кто-то из братьев, когда мы входили в здание Троицкого училища⁴⁸, где располагались наша канцелярия и управление войскового инженера.

— Лишь бы это кое-кому боком не вышло, — с беспокойством ответил ему другой. — Проклятуший нейтралитет.

— Бились, любо-дорого смотреть, — сказал, входя, кто-то из дольше всех задержавшихся на берегу. — Вот только сейчас немного стихло. Проиграли, похоже, бедняги.

⁴⁷ Глазковское предместье, если смотреть из центра города, с противоположной стороны Ангары, как это делает автор и его герои, находится на небольшом взгорке над железнодорожным вокзалом и от него уходит дальше направо (на северо-запад) в сторону станции Иннокентьевская.

⁴⁸ Троицкое училище — судя по дальнейшему описанию (некоторая удаленность от Большой улицы), речь может идти о Городском начальном училище Кладищевой, Троицкое отделение которого располагалось на углу улиц Троицкой и Мыльниковской (5-й Армии и Чкалова), прямо напротив Троицкой церкви.

— Думаешь, что повстанцы? — сейчас же ему задали вопрос. — Сюрприз был бы не из приятных.

— А как по-другому, — в ответ заметил кто-то из братьев, — семеновцев на кривой не объедешь.

— Ну-ну... еще посмотрим, — отозвалось негромко сразу несколько голосов.

Вскоре из города вернулась в гараж машина.

— Ребята, а какой в городе праздник! — объявил шофер. — Скипетров бой выиграл и переправился в город. Встречали его с музыкой. Сейчас уже и его ребятки показались на улицах, и что по мне, так смотреть страшно. Монголы они или еще какие черти, кто бы сказал. Глаза узкие, как у китайцев, а носы что твоя груша. Кожа желтая, как лимон, а глазенки злые и блестят, как у крыс.

— На это надо посмотреть, — сказали все хором и как один поспешили в город, посмотреть на триумфальное чествование скипетровских героев.

Целые потоки людей спешили к главной улице, со стороны которой слышались резкие звуки музыки военного оркестра. Мы подошли вовремя. По мостовой за оркестром, игравшим бодрые марши, двигались отряды семеновцев⁴⁹. Публика на тротуарах встречала приветственными криками дикие фигуры, наводившие ужас на весь Восток⁵⁰, в казацких шапках, лихо сдвинутых набекрень, из-под которых выбивались буйные кудри чубов. Это было сборище всего худшего в крае, искатели приключений из казаков, буряты из самых дальних углов, беглые каторжники и люди без определенных занятий, готовые на все за деньги. В их облике, диком и грубом, не было ничего возвышенного. И шли они угрюмо, с каким-то тупым отвращением поглядывая на ликующую вокруг толпу. И только офицер, шагавший перед своим подразделением, находил возможность с некой даже грациозностью отвечать на приветствия дам. Настроение у окружающих было восторженное. И точно так же, как в дни «победы» Розанова над Гайдой⁵¹, офицеры и их попутчицы шли, гордо вскинув головы, бросая при этом на нас иронические взгляды. Наша помощь им больше не требовалась.

— Бог помог, — слышалось кругом. — Скоро еще и японцы подъедут, и будет вообще о-го-го. Вы слышали? Целая японская дивизия уже в Мысовой⁵².

Около гостиницы «Модерн», где находился штаб Сычева, люди стояли уже буквально друг у друга на головах. Кто-то произносил страстную речь, и ее время от времени прерывало громогласное «Urá!». Из этой толпы неожиданно прямо на меня вышел Васил Иннокентьевич. Лицо его светилось радостью. Тут же заметив меня, он шагнул вперед и радостно пожал мне руку.

⁴⁹ Согласно данным Иркипедии, в город переправились еще до начала боев у Глазкова две роты семеновцев, которые позднее, после отступления основных сил Скипетрова, приняли участие в боях на позициях у реки Ушаковки (http://irkipedia.ru/content/grazhdanskaya_voyna_dekabrsko_yanvarskie_boi_1919_1920_v_irkutske).

⁵⁰ Здесь — Забайкалье.

⁵¹ Радола Гауда — бывший колчаковский генерал из чехословаков, успешно командовавший Северной армией во время летнего наступления белых в 1919 году, после выхода в отставку из-за несогласия с военной стратегией и внутренней политикой Верховного правителя по пути в Японию принял 17 ноября 1919 года вместе со своим немногочисленным конвоем участие в правозсеровском восстании, организованном во Владивостоке. Восстание было подавлено войсками оставшегося верным Колчаку главного начальника Приамурского края и командующего Приамурским военным округом генерала Сергея Николаевича Розанова.

⁵² Мысовая — железнодорожная станции на восточной, бурятской стороне Байкала. По прямой от Иркутска 125 километров на юго-восток, а вот по обходной дуге Круго-Байкальской железной дороги, соединявшей тогда Иркутск и Мысовую, уже более 300 километров.

— Ох... ох... — от счастья у него словно дыхание перехватывало. — Видели, да. Здорово им всыпали! Все Глазково в их руках. Пришла и к нам удача!

— Urá! — отозвалась многоголосая толпа, когда на втором этаже распахнулась окно и в нем появился генерал Сычев вместе со Скипетровым. Звуки всеобщего ликования летели из толпы и смешивались с музыкой оркестра, звучавшей уже где-то на краю города⁵³.

Глава XVIII

На следующий день странная суета была заметна на улицах. На лицах офицеров появились какая-то озабоченность и даже подавленность. Небольшие группы собирались на углах и с очень серьезными лицами о чем-то негромко говорили. Сам день был очень ясным и необыкновенно морозным. Вьюга закончилась, и на голубом небе жарко горело солнце, освещая весь город своими лучами. Можно было видеть какие-то фигуры, с мрачным интересом спешившие к Ангаре. Вид у них был отрешенный, людей расстроенных и замкнувшихся в себе. От реки неторопливо, не очень твердым шагом шли два рабочих, на губах у них играли иронические улыбки, и всем встречным они посылали язвительные усмешки.

— Уехали гебжата в свое царство. И следа от них не осталось, — рассмеялся один из них.

Следом за рабочими мне попался брат К. Тоже идущий от реки.

— Ты уже знаешь? — спросил он взволнованно.

— Что?

— Эшелоны уехали. Говорят, разогнали их вчера, как ворон. Дали втянуться в улицы, а потом обошли с фланга и атаковали бронепоезда. Этим ничего не оставалось, как быстро откатиться, отбить свои эшелоны, запрыгнуть в вагоны и уехать. Очевидно, к такому повороту дела они были сразу готовы, потому что имели локомотивы и впереди, и сзади своих поездов.

— Но сам же Скипетров здесь? — спросил я с удивлением.

— Да! Переправился вчера с горсткой своих в город, но для чего, один Бог ведает. Говорят, выше по Ангаре оставил пароход. Наверное, ждет подкрепление⁵⁴.

⁵³ Город у Земана — это исключительно центральная часть тогдашнего Иркутска, перекресток Большой и Амурской с собранными вокруг, в радиусе пары километров, многоэтажными каменными домами и храмами.

⁵⁴ Речь, по всей видимости, о пароходах семеновцев, которые стояли в это время не на Ангаре, а у пристаней на Байкале. Этим пароходам будет суждено сыграть роковую роль в судьбе нескольких десятков иркутских эсеров-заложников и, как следствие их страшного бессудного убийства, в судьбе уже самого адмирала Колчака, отдавшего Семенову приказ силой подавить восстание в Иркутске. «Подозреваемые в организации восстания в Иркутске в количестве 31 человека, арестованные иркутской контрразведкой накануне восстания Политцентра, доставлены в село Лиственичное для передачи их генералу Л. Н. Скипетрову. В Лиственичном их погрузили на пароход „Кругобайкалец“ и перевезли на ст. Байкал, где разместили на пароходе „Ангара“. Здесь заключенные попали под охрану прибывших сюда семеновцев. Вечером 6 января ледокол отошел от пристани Байкал в направлении Лиственичного. По распоряжению командовавших на пароходе подполковника А. И. Сипайло и начальника гарнизона ст. Байкал штабс-капитана К. Ф. Годлевского арестованных, разделанных до нижнего белья, по одному выводили на палубу, казак Лукин сзади ударял жертву по голове деревянной колотушкой, служащей для оковки льда. После чего жертву сбрасывали за борт. Это массовое убийство продолжалось около часа. В числе убитых оказались такие видные эсеровские деятели, как Б. Д. Марков, П. Я. Михайлов, Н. П. Петров, Я. Ф. Терещенко, М. П. Храбров и Я. Я. Аунен. Среди погибших оказался отец выдающегося историка Сибири академика А. П. Окладникова учи-

— Так, значит, проиграли? — со вздохом сказал я и вспомнил вчерашний бой, который мы все наблюдали. Теперь стало понятно, что это были за необъяснимое отступление и бой у эшелонов.

— Но что за комедию разыграл вчера Скипетров в городе, заставив публику честовать его как победителя? — сказал я с отвращением.

— Да! Уже ночью весь город это знал. Смотри, как упрямо все спешат на берег, чтобы только собственными глазами убедиться — никаких эшелонов Скипетрова нет. Вот уж действительно страшное разочарование.

— Это конец... — сказал я. — Семеновцы были последней их надеждой.

— Последней, — согласился брат К. — Сегодня или завтра вся эта комедия закончится. Ангара уже схватывается. Глазковцы в самое ближайшее время перейдут по льду и вступят в город.

— И эту атаку Иркутску не отбить, — сказал, уже прощаясь со мной.

Дошел и я до берега Ангара.

Огромные белые глыбы лениво двигались по речной глади, и время от времени вся эта плотная масса льда замирала, громоздясь перед глазами, словно непроходимая стена. Очень тяжело было себе представить, что пароход Скипетрова мог по такой реке подняться далеко вверх. Там же, где вчера дымили бронепоезда семеновцев, было пусто и лишь поблескивали под золотым солнцем узкие колеи рельсов.

У самой воды можно было увидеть фигуру офицера, сидевшего на перевернутой лодке и смотревшего задумчиво туда, на другой берег. Непроизвольно меня потянуло к нему, я подошел и заглянул ему в лицо.

Это был инженер Махнов.

— Ох, это вы, Адольф Войтехович, — приветствовал он меня без всякой радости. — Тоже пришли посмотреть? Да, уехали.

Инженер Махнов умолк. И только пальцы его нервно дрожали. Потом он тихо сказал:

— Это конец. Это была последняя надежда.

Голос его тоже дрожал. Потом он отчаянно махнул рукой и быстро заговорил:

— Знаете ведь, я во все это особенно не верил. Очень уже хорошо знаю всю эту свору вокруг Семенова. Сброд со всех углов матушки-России, наемные солдаты, рыцари сомнительной чести. И все равно, так хотелось верить, так хотелось ошибиться. Ну, теперь уже все. Иркутск нам не удержать. Последний наш бастион падет.

— Но все-таки восстание не большевистское. Может быть, этот переворот — начало новой эры? — сказал я.

Махнов лишь усмехнулся.

— А вы верите, что эти вот новые политики сами удержатся? Ах, как же мало вы, чехи, сумели разобраться в нашем брате. Демократия! Что такое русская демократия, скажите мне на милость? Кучка интеллигенции, где у каждого свой взгляд и свои догмы, от которых он ни за что не отступится? Или, может быть, это мужик, который не признает никакой власти и которому бы только урвать землицы и сидеть на ней голодать? Или рабочий, что бежит за лозунгами социализма, но по своей неграмотности не знает даже ее азбучных основ? Нет, мой дорогой! Нет у нас демократии, но главное, нет у нас людей, способных создать основы этого самого демократического государства. Было вот Временное правительство Керенского, вы сами знаете его историю. Был Корнилов, Алексеев, Юденич, Деникин, Колчак... да, и Колчак был,

тель П. С. Окладников, служивший в Иркутске прапорщиком 56-го Сибирского стрелкового полка» (http://irkipedia.ru/date/kazn_31_zalozhnika_na_bortu_ledokola_angara).

был, скажу вам, потому что уже и его нет. И все они хотели чего-то, стремились, да только людей для этого не нашли. Нашли только теоретиков, диалектиков и риториков, тонущих в программах и дискуссиях, а не людей дела. И этой их слабостью сумели воспользоваться и те большевики, что слева, и те, что справа. Сначала вернулись те, что справа, те, которых ничему не научила революция, те, что жили только мечтой о возвращении старой русской жизни. Но и они между собой не ладили и новой стране были чужими. И тогда настало время левых, они воспользовались слабостью правых, потому что они-то сами были и сильны, и целеустремленны. А мы, оставшиеся, мы сойдем со сцены, исчезнем, если не сегодня, то завтра. И что придет за нами? Народно-революционная армия! Народная, национальная, не слышите в этом признаки все той же слабости? Нынешняя русская революция — никакая не народная, не национальная, она в глазах масс интернациональная, некий мессианский призрак грядущего всечеловеческого блага и счастья. Плевала она на национальное сознание, с презрением смотрит на любовь к родине, издевается над самой идеей. Калашников, может быть, и знает, чего хочет. Но и он исчезнет, как исчезнем перед этим мы. Его «народная» армия за одну лишь какую-нибудь ночь устыдится того, что еще вчера было народной, и все свои народные ленточки растопчет в грязи. «Политический центр» — так себя называют новые хозяева Сибири, которые придут за нами. Центр чего? Провозглашают идеи демократического государства. Зовут к сотрудничеству все демократические круги и справа, и слева, воду и огонь, кадетов, меньшевиков, социал-революционеров, социал-демократов и коммунистов. Ха-ха, отличная идея, ей-богу! Только в России это невозможно. Может быть, у вас, на Западе, и да. Но у нас никогда! Потому что всех сбросят и станут надо всеми опять левые. Почему? Да потому, что за ними пойдет масса, соблазненная звучными лозунгами, пойдет как за новой верой. Это ведь что-то вроде религиозного фанатизма у них, в этом-то вся и трагедия. Потом, когда разочаруются, разорвут все в клочья, как разорвали уже царизм.

— И что после этого? — спросил я тихо.

— А после этого придут varjagi, — сейчас же отозвался Махнов, — будут усмирять, как боксерское восстание в Китае, порохом и свинцом. Не знаю на самом деле, чем станет Европа усмирять растревоженную, беспокойную Россию. Может быть, она сама собой уймется. Вымрет от голода, эпидемий, от общего опустошения, распадется, или еще чего-то, что одному Богу известно.

— Эх, да что тут говорить! — он махнул рукой. — Верите, все сердце изболелось, Адольф Войтехович. Так бы и кинулся головой в это ледовое море, ушел бы из этого ада беды и горя. Но надо идти. Сегодня вечером опять выходим на позиции у моста. Так что, может, больше уж и не увидимся.

Махнов быстро подал мне руку и жарко ее стиснул. В глазах его дрожала влага. И он ушел, больше уже ничего не сказав.

Суета в городе казалась вполне обычной, только все звуки были тише и угрюмее. Над Глазковым зазвенел винт аэроплана, который стал приближаться к городу. Люди уже спокойно смотрели на его полет, а когда на улицы посыпался дождь из белых листочков, подбирали их без спешки, с каким-то даже безразличием, как будто уже зная, что на этих листочках написано.

Это были известия от революционного командования.

Сообщалось о поражении Скипетрова и объявлялись условия прекращения военных действий. Главными были — передача Колчака и самой власти в руки Политического центра.

Прохожие читали это все без видимого интереса, а офицеры со злобой рвали белые листочки и бросали в снег. По городу ходили слухи об огромном подкреплении,

которое пришло к повстанцам, и о присоединении к ним партизанских групп со всей округи. Особенно невероятные слухи распространялись о Карандашвили. Местные демократы держались необыкновенно спокойно, угрюмое и многозначительное молчание царило и в рабочих кварталах. Лишь тут и там группки мальчишек пробегали, распевая слова, положенные на мотив известной народной песенки:

Obezianka povernis,
pokáži bezplatno,
kak Skipetrov bral Irkutsk,
poběžál obratno.

* * *

В нашем штабе все было в движении. Поражение Скипетрова вызвало острое недовольство Семенова, который немедленно обвинил нас в том, что мы стали всему виной⁵⁵, что совершенно не соответствовало действительности. Наши части на иркутском вокзале сохраняли строгий нейтралитет, хотя у отдельных наших людей, конечно, очень чесались руки. И до этого уже, когда в отчаянии Колчак только обратился за помощью к Семенову, он обвинял нас в том, что мы не даем пройти эшелонам атамана, и просил Семенова в ответ и нам закрыть отход на восток. Были перехвачены телеграммы Колчака, в которых он просил взорвать несколько байкальских тоннелей⁵⁶. Ему казалось, по всей видимости, что таким образом он принудит нас выступить против наступавшей Красной армии. Семенов в самом деле сосредоточил какие-то свои части у Байкала, очевидно, с намерением удержать нас силой.

Все это вызвало в рядах нашей армии сильнейшее озлобление как на действия колчаковцев, так и семеновцев, но добровольческая дисциплина приказала взять себя в руки и не распускаться.

Между тем Сычев попытался поднять боевой дух своих войск и населения распространением сообщений о том, что придут еще подкрепления и, главное, едут японцы. Два эшелона с японцами и в самом деле прибыли на следующий день на иркутский вокзал, но из вагонов войска не выгружались и таким образом держали нейтралитет.

* * *

Сражение за город продолжалось четыре дня. Силы обороняющихся слабели, а с ними и воля к борьбе. В городе начал ощущаться недостаток продуктов и топлива. Все стало дорожать. Как это всегда это бывает в осажденном городе.

Все это время я не видел Марию Михайловну.

⁵⁵ Чехословаки действительно не мешали никому в Иркутске, но позднее, уже после отхода семеновцев к Байкалу, по прямому указанию командующего союзными войсками в Сибири генерала Жанена ликвидировали при поддержке 30-го американского полка бронепоезда семеновцев (ст. Подорвиха), а затем и разоружили самих гостей из Забайкалья (ст. Маритуй, Слюдянка, Култук). http://irkipedia.ru/content/grazhdanskaya_voyna_dekabrsko_yanvarskie_boi_1919_1920_v_irkutske.

⁵⁶ Речь идет о Круго-Байкальской железной дороге (КБЖД), до постройки Иркутского водохранилища на Ангаре и восточного обхода в пятидесятых годах XX века бывшей единственной веткой, соединявшей северо-западный и юго-восточный берега Байкала. КБЖД (две сотни километров) шла по узкой полоске земли между берегами Ангары, а затем Байкала и крутыми сопками, поросшими густым лесом, через десятки тоннелей и мостов. Уничтожение любого из них могло на много дней остановить все движение между Иркутском и Верхнеудинском (современный Улан-Уде). В настоящее время сохранился как местная ветка и туристическая достопримечательность только байкальский участок. Примерно половина протяженности исторической КБЖД.

Но на третий день обнаружил у себя дома записочку, написанную ее рукой, с просьбой зайти к ней.

Нашел я ее на вид утомленной и несколько растерянной. Подала мне руку и вместо приветствия очень пристально посмотрела, потом быстрым шепотом спросила:

— Вы видели Васи́ла?

— Видел, — ответил я, — в тот день, когда приехал Скипетров.

Мария Михайловна печально опустила голову.

— Боже, как я волнуюсь... — сказала она с глубоким вздохом.

— У меня к вам огромная просьба, — продолжила решительно, словно беря себя в руки, — зайдите к нему, узнайте, как он, и передайте от меня привет. Боюсь за него. Не ранен ли? Вчера был у Ушаковки необыкновенно жаркий бой. Госпитали переполнены. Я уже наводила справки, но никто о нем ничего не знает. А самой мне к нему нельзя. Отец строго-настро́го запретил.

Мария Михайловна была необыкновенно трогательна в своих девичьих чувствах. Ее бледное лицо покрыл румянец, а глаза блестели влагой. Я был полон сочувствия к ней, и в то же время страшная ненависть к Васили́у Иннокентьевичу жгала мое сердце.

«Боже мой, — думал я, — да разве такое существо, как он, заслуживает подобной любви?»

Смех меня разбирал от одной только мысли, что о его жизни можно беспокоиться. Уж я-то знал наверняка, что он выкрутится в любой самой ужасной ситуации. Но может быть, при этом я все же не понимал чего-то важного и просто был к нему несправедлив?

— Мария Михайловна, мне кажется, все ваши опасения излишни... — сказал я и, не выдержав, прибавил: — За что вы его так любите?

Она посмотрела на меня долгим взглядом и горько усмехнулась.

— Сама не знаю, — сказала с какой-то даже растерянностью. — Знаете, мне всех вообще жалко, и его тоже. Наверное, просто привычка. Мы с ним дружили с самого детства. Любила я его тогда, наверное, и теперь люблю. Судьба моя, наверное, такая.

Я вздохнул:

— Ах, Мария Михайловна, — и очень тихо добавил: — Как же бы мне хотелось, чтобы и меня кто-нибудь вот так же любил.

Она посмотрела мне прямо в глаза долгим и влажным взглядом и вдруг вся задрожала. Потом освободила свою ладонь из моих рук и, отойдя на шаг, отвернулась. Я сейчас же ушел.

Как только мне позволили дела, я поспешил по одной из улиц, отходящих от главной к главному храму, возле которого жил Васи́л Иннокентьевич.

Я постучал в двери его квартиры. Отворила мне сухая, маленькая и неприветливая бабка.

— Васи́л Иннокентьевич Макаров дома? — спросил я.

— Нету его, — едва слышно прошамкала бабка, — черт знает, куда делся. Со вчерашнего дня не был дома, не знаю, где и ночевал.

— Ничего не оставил, записку, может быть?

— Нет! — пробубнила бабка и с неожиданной силой резко закрыла передо мной дверь.

Я вышел из дома, постоял в некоторой растерянности возле него на улице и решил сходить в штаб русских войск. Здесь тоже никто ничего не смог мне сказать.

— Васи́л Иннокентьевич Макаров? — переспросил меня какой-то вконец исхудавший капитан с огромными очками на носу. — Да, знаю я его, конечно, знаю. Он должен был быть сегодня дежурным в телефонной и не явился, черт бы его побрал. Теперь другим за него отдуваться, а он сам один Бог милосердный знает, где бока греет.

— Может быть, он ранен? — предположил я несмело.

Капитан бросил на меня поверх очков взгляд, полный самого искреннего недоумения. И мне даже показалось, что в его усталых, непроницаемых глазах блеснул при этом огонек усмешки.

Возвращаясь к себе, я заглянул и в офицерский госпиталь, но и здесь никто ничего не знал. Только одна из сестер после моего описания что-то как будто бы припомнила, похожего офицера привезли вчера ночью уже мертвого. Но сказать точно, он это или нет, она не могла. Боже мой, столько теперь мертвых и раненых.

Усталый и расстроенный, я направился уже к себе домой и с чувством необыкновенной радости очутился наконец в своей собственной комнате. И сейчас же плюхнулся в кресло. Ноги в сапогах у меня просто горели, и я немедленно начал их стягивать, первым привычно потянув рукой за каблук правого сапога. И в этот момент мой взгляд упал на стол, там лежало какое-то письмо. Оставив сапог в покое, я потянулся к конверту. Быстро его разорвал, извлек маленький листочек и прочел: «Голубчик! Не сочтите за труд зайти к нам, у меня для вас необычайно важные известия. Ваш доктор Архангельский».

Я негромко выругался. На улице стоял трескучий мороз, а дома было такое уютное тепло. Через минуту должна была войти в мою комнату прислуга с горячим самоваром. Но любопытство уже грызло меня изнутри своими острыми зубами, и, продолжая ругаться, я снова встал и направился к доктору Архангельскому.

Принял он меня с таинственной, но несколько растерянной улыбкой.

— Ну наконец-то мы вас дождались. Совсем вы нас забыли, неблагодарный вы человек.

Жена доктора Екатерина Ивановна была в самом дурном расположении духа, она полулежала на диване с мокрым платком на голове. Она подала мне вялую руку и простионала:

— Ах, моя голова... мигрень... сами видите...

Тут доктор Архангельский приобнял меня за талию и увлек в свой кабинет. Здесь он указал мне на широкое кресло. И сам усевшись передо мной и скрестив руки, несколько несмело начал:

— Я послал за вами, golubčik, по просьбе одного вашего доброго приятеля...

— Моего приятеля?

— Да.

— Уж не Васи́ла ли Иннокентьевича? — я едва ли не закричал.

— Да, — с усмешкой ответил доктор Архангельский.

— Что с ним, где он?

— Здесь!

— У вас?

— У меня.

— Ранен? — тихо спросил я, полный нехороших предчувствий. — При смерти?

Доктор Архангельский встал и молча повел меня в переднюю. Здесь по узкой лестнице мы поднялись на чердак и остановились перед маленькой дверцей. Доктор Архангельский застучал и как-то по-особому закашлял. С другой стороны двери раздались негромкие, приглушенные и почему-то шаркающие шаги, дверь отворилась, и передо мной предстал живой и здоровый Васил Иннокентьевич, обу́тый в огромные рiпу⁵⁷.

⁵⁷ Пимы — исконное сибирское название валенок кажется совершенно естественным в устах человека, который впервые увидел «сапоги из валяной овечьей шерсти для ходьбы по снегу» именно здесь, в Сибири.

— Ох, дорогой вы мой, дорогой, — закудаhtал он, — вы пришли. Ну слава богу! Васил Иннокентьевич, шаркая, повел меня в комнату.

— Что с вами? — спросил я.

— Очень мерзнут ноги, — вздохнул Васил Иннокентьевич, при этом его взгляд блуждал по стенам комнаты и избегал моего. Было очевидно, что он очень напуган и, когда под ногами доктора Архангельского, немедленно нас покинувшего, где-то внизу скрипнула лестница, Васил Иннокентьевич вздрогнул и много живее, чем это обычно позволяют замерзшие ноги, подскочил к двери и прислушался. Потом он снова сел.

Какое-то время я на него молча смотрел, и если до этого момента я еще в чем-то сомневался, то теперь уже все мне стало совершенно ясно. Наверное, и Васил Иннокентьевич почувствовал, что творится в моей душе, потому что внезапно густо покраснел и смущенно глянул мне в глаза.

После чего уже решительно заговорил:

— Ах, вы и сами все понимаете! Да, честно скажу, с меня довольно! Это бессмысленное сопротивление, Адольф Войтехович! Добровольцы незаметно скрываются, мобилизованные перебегают. Что же теперь, сдохнуть где-то в снегах? Завтра этот пузырь лопнет! Ну, бог с ним, новые люди приходят царствовать. А Сычев? Сбежит, проклятый, и что же, умирать за него? Nadojelo, ей-богу! Не хочу больше воевать.

— Ну хорошо, не хотите — не воюйте. Но я-то тут при чем?

— Ах да, — взволнованно откликнулся Васил Иннокентьевич, — просьба у меня к вам. Я здесь уже два дня.

Тут он опять зарумянился.

— Не хочется мне больше обременять хозяев. Екатерина Ивановна все время так тяжело стонет. И потом... понимаете, я тут не ощущаю себя в безопасности. Сычев в бешенстве. Ищет сбежавших овец. Мстит. А как только все лопнет и совершится уже переворот, не дай бог попасться кому не надо под руку в самые первые дни. Надо бы мне отсюда уйти куда-то в более безопасное место.

Понять все это можно было, но я все же пожал плечами.

— Что же вы с этим столько тянули? Мне ничего не стоило вас переправить на ту сторону к повстанцам. Наши ребята, думаю, целый полк туда доставили. А теперь Ангара уже встала. И по льду пути на ту сторону нет.

— Может быть, тогда где-нибудь у вас в казармах, — несмело предложил Васил Иннокентьевич. — Может быть, уже завтра все закончится. А я у вас пережду, побуду в безопасности в самое тревожное время. А после какой-нибудь выход да найдется. Калашников — ведь мой старый приятель, когда-то вместе воевали.

— Хорошо, — сказал я сухо. — И кстати, я сам вас искал.

Васил Иннокентьевич разом побледнел и схватил меня за руку. В глазах появился испуг.

— Вас не в нашем штабе просили... Вы им не скажете...

— Да нет, конечно, — я рассмеялся. — Просила меня Мария Михайловна. Я в поисках вас сегодня весь город обошел.

После этих слов бледность сошла с лица Васи́ла Иннокентьевича, и оно заиграло своими обычными, естественными красками.

— Значит так, — сказал я, — я пришлю вам свою шинель и нашу фуражку⁵⁸. Как только совсем уже стемнеет, приходите ко мне в школу на Троицкой улице. Там все

⁵⁸ С июля 1919-го в чехословацких частях в России взамен привычной до того времени русской фуражки был введен новый «национальный» головной убор. «Приказом № 41 от 21 июня 1919 г. в чехословацких частях вводился новый головной убор — „выдумка“ (род кепи, сшивавшийся из четырех клиньев, круглый, одинаковой высоты, имевший отвороты и широкий квадратный козы-

окончательно и порешаем. Не думаю, что вы будет единственный, кто там будет искать убежище.

Васил Иннокентьевич с благодарностью пожал мне руку. И я тут же ушел от него. У дверей в передней меня встретил доктор Архангельский.

— Rumočku ne vupijete?

— Нет, спасибо, — ответил я коротко.

— Ах, голова моя, — простонала Екатерина Ивановна, подавая мне на прощание вновь свою белую руку.

Я поспешил домой, написал записочку о том, что Васил Иннокентьевич нашелся, и послал ее Марии Михайловне. И сразу после этого отправил к Архангельским шинель и фуражку для самого Василя Иннокентьевича.

Глава XIX

Все это время инженер Махнов пребывал в состоянии какой-то отупелости. Ходил, скорее передвигался механически, погруженный в свои мысли, в разодранной шинели с черным, как будто сажей замазанным, лицом. И все время был на передовой, одним только своим неизменным присутствием на линии первого охранения вливая отвагу в души всех своих людей. Все дни боев он едва ли минуту спал. Здесь у моста через Ушаковку те, кто оборонял город, сосредоточили все свои силы. Присутствие японских и чехословацких подразделений у вокзала на левом берегу исключало возможность атаки со стороны Ангары, и поэтому защитники Иркутска знали, что и повстанцы все свои силы собирают все у того же моста.

Треск выстрелов на той стороне Ушаковки просто не умолкал. Минутами он сливался в один общий грохот, а бывало, что в течение целого часа лишь редкие пули прилетали, словно случайные, неизвестно откуда и со звоном рикошетили от стены дома. И тогда казалось, что огромные тяжелые капли падают на гулкий каменный пол. Иногда ухал пушечный выстрел, но весь вчерашний день не было ни одного. Или кончились снаряды, или сычевцы в самом деле испугались угроз повстанцев, пообещавших начать бомбить город с самолетов, если не прекратится обстрел беззащитных домов предместья.

Обороняющихся одолевали апатия и безнадежность. А в самом городе, покуда горстка из юнкеров, еще несовершеннолетних детей из казацкого училища, офицеров и верных правительству солдат на берегах Ушаковки и Ангары днем и ночью отража-

рек, обтянутый материей. Спереди крепилась металлическая кокарда в виде чехословацкого герба, причем она не должна была закрывать ни верхний вырез, ни матерчатый подбородный ремень. В треугольном вырезе отворота помещалась сшитая углом вверх бело-красная ленточка. Приказом с 1 июля 1919 г. предписывалось носить исключительно головные уборы, выданные интендантством (образца 1919 г.), причем запрещалось шить их не из ткани защитного цвета или украшать цветными кантами или подкладками под кокарду. „Выдумка“ долгое время соседствовала с обмундированием прежнего русского образца (многочисленными образцами френчей и гимнастерок), сделавшись с этого времени основным отличительным знаком чехословацкого военнослужащего». <http://www.kolchakiya.ru/uniformology/czech/infantry.htm>.

К этому остается добавить, что общепринятое название «выдумка/výdumka» для головного убора, который должен был наконец отличить чехословаков от всех прочих воюющих в Сибири армий, слово русское, и как пишет в своей статье о языке сибирской армии Ф. Травничек, «[кепи] на деле так названо из-за того, что потребовало для изобретения много трудов и размышлений (rus. dumaf)». Trávníček, František Příspěvek k mluvě naší sibiřské armády. Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 6–7, s. 203–209.

ла непрерывные атаки, по улицам бродили, как стада потерявшихся овец, без всякой цели и смысла кучки обывателей. Время от времени возникала паника. Стоило в сумерках на какой-нибудь задней улице хлопнуть выстрелу, и люди в ужасе начинали разбегаться, запирали окна и двери и прятаться в подвалах. С наступлением ночи стрельба начиналась на всех окраинах города, и никто не знал, кто это и почему стреляет. Стали ходить самые невероятные слухи. Повстанческая агитация, если уже не большевистская, велась едва ли не открыто. Ходили разговоры о возможном восстании в самом уже городе, о подготовке террористических актов, о взрыве храма и прочем подобном. Сычев дал приказ арестовать нескольких эсеровских политиков и держал их как заложников. Беспокойство, неопределенность и ожидание террора владели всеми. Люди буквально умирали от страха и почти ничего не ели. Да и есть было особенно нечего. Доставка продуктов в город сделалась невозможной, город был окружен со всех сторон, и все запасы в нем съедены. Торговцы китайцы и татары, опасаясь грабежей, все вывезли из своих лавок и попрятали. Хлеба не хватало, и солдаты Сычева начали роптать. Множились случаи перебежки к повстанцам, 91-й иркутский полк, заметно поредевший из-за болезней, восстал и отказался идти в окопы. Его пришлось разоружить и запереть в казармах под охраной офицерской роты.

Жителей города не оставляли тревожные ожидания того, что вскоре будет. Всем и каждому было ясно, что обороняющиеся рано или поздно сдадут город. Больше всего люди опасались мести повстанцев, после того как те ворвутся в город. Рассказывали, что повстанцы в Знаменке освободили из тюрьмы всех уголовников, что беспрепятственно растаскивают огромные склады спирта и притесняют население. Ужас наполнял каждого перед этой одичавшей массой, готовой заполнить город. Множились голоса тех, кто говорил, что пришло время вступить с повстанцами в переговоры и добровольно оставить город. Ряды добровольцев, что обороняли город, редели, кто-то прятался у себя дома, а кто-то на санях бежал на восток⁵⁹. От самоуверенности и боевого настроения, еще недавно владевшего обществом, не осталось и следа.

Демократические круги города между тем продолжали сохранять видимость спокойствия. Они безусловно были возмущены арестом нескольких своих лидеров, но активно не протестовали. Зато множились случаи нападений на офицеров, оказавшихся вечером на дальних, пустынных улицах. За каждым углом в темноте могла поджидать опасность.

Был хмурый, облачный день. На небе стального цвета висели облака, полные снега, выл ветер, поднимал вьюжную круговерть из смеси мелкого снега и пыли и швырял ее в лицо солдатам, лежащим в наскоро выкопанных окопах, за горами камней и бревен, за перевернутыми лодками и будками, тянувшимися длинной полосой вдоль берега реки, и глаза делались красными, неотрывно глядя на белый снег и ветер. Почерневший остов моста впереди, выступавший сквозь белую круговерть, казался оскалом какого-то мертвого монстра, в теле которого зияла огромная дыра от разрыва снаряда. Железные балки торчали в разные стороны, как куски гниющего мяса из рапы, и под ними среди льда громоздились кучи обломков, камней и глины.

Солдаты ворчали.

— Да черт бы уже взял все, — раздавалось время от времени, — конца этому не будет!

— Конец — это только смерть, — хмыкнул долговязый поручик, у него одна нога была деревянной, но каждый вечер он приходил на передовую, опираясь на костыль и с винтовкой за спиной.

⁵⁹ Бежать на санях можно было на северо-восточный берег Байкала к Листвянке и Голоустному в надежде уйти позднее по льду озера на другую сторону в Танхой и Мысовую.

— Эй, ребята, по маме не скучаете? — решил он подразнить еще несовершеннолетних ребят в черных казацких фуражках с желтым околышем⁶⁰.

— Вы бы лучше дали раріgosky, — засмеялись в ответ мальчишки, — хоть зубы согреть.

— На, щенок! — заулыбался поручик и кинул одному из ребят, что скрючились за могучим накатом из бревен, мешочек с папиросами.

Какой-то старый чиновник в плоской и зеленой академической шапочке на голове, лежа на животе, носками сапог постукивал по мерзлой земле, чтобы хоть немного согреть пальцы. Вьюга раскачивала низкие сухие кусты на берегу и гнула к земле тонкую березу или ольху. В воздухе просвистела пуля и перерубила ветку, которая упала на землю, словно рука, отрубленная от тела.

— Эх, сволочь, — выругался поручик⁶¹, — пищит, как хомяк, когда его схватишь за хвост.

— Если бы только можно было схватить, — откликнулся лежавший за перевернутой будкой молодой студент, куривший трубку.

— И схватим, молодой человек, схватим! Јарuški вот-вот уже вмешаются. У Семёнова договор с ними уже готов!

— Договор, — забурчал чиновник и перестал стучать сапогами о землю. — Дорого небось попросят за услуги, черти. Заберут себе Сибирь и море захватят.

— Так, так, — поддакнул, поглядывая равнодушно на темные облака, какой-то седой фельдфебель, лежавший на спине на дне лодки, выброшенной на берег и вмерзшей в снег. — И кто бы мог только подумать! Давно ли мы с ними на смерть бились тут совсем рядом на маньчжурских полях, а ныне? Спасать нас пришли! Не ради России это будет сделано, ей-богу!

Где-то далеко на правом крыле неприятельской обороны⁶² загрели выстрелы. В небе сгустился сумрак, а над рекой поднимался белесый туман. Какое-то время стрельба там продолжалась, а потом стихла так же внезапно, как и началась. Двигаясь вдоль стены с той стороны, подобрался какой-то юный кадет, дышавший себе на ладони.

— Ну, с кем это вы там сейчас беседовали? — спросил невысокий, плотный, по самую бороду закутанный в кожан полковник, сидевший у стены за массивной стойкой ворот.

— Трудно сказать, vaše blahorodí⁶³, — отдал честь кадет. — Какая-то группа как будто бы пыталась по Ангаре пройти в Знаменку. В тумане толком не разберешь.

Полковника передернуло.

— Река стоит уже два дня, — сказал он с беспокойством. — Когда совсем стемнеет, надо бы послать разведчиков посмотреть, что на ней делается. У самого Глазкова тихо?

— Ничего не видно, — ответил ему кадет.

— Хм-мм, — промычал полковник. — Будьте на страже. Вот оттуда они могут перейти реку и соединиться с этой бандой. Тогда совсем трудно будет держаться.

⁶⁰ Фуражки с оливковой тульей и желтым околышем — часть униформы уссурийских и забайкальских казаков в описываемое время.

⁶¹ В оригинальном тексте у Земана в каждом следующем абзаце, видимо из-за редакторского недосмотра, меняется звание этого офицера: то он подпоручик (poručík), то поручик (nadporučík). В переводе оставлено одно, более высокое.

⁶² По труднообъяснимой причине весь бой в этой главе автор наблюдает со стороны Знаменского предместья. Для обороняющих центр Иркутска, таким образом, в зеркальном отражении, речь о стрельбе на собственном левом фланге.

⁶³ Пехотный полковник — это шестой класс в русской Табели о рангах воинских чинов, следовательно, юный кадет должен был бы говорить «высокоблагородие». Ну, или «высокородие», если полковник вдруг гвардейский.

— Докладывайте о любом шуме, — заключил он по-военному коротко.

Кадет отдал честь и исчез.

На широком дворе каменного купеческого дома отдыхала находившаяся в резерве рота инженера Махнова. Еще двести юнкеров и офицеров расположились в амбаре китайского склада муки. Из выходящих на улицу окон низких одноэтажных домов торчали стволы винтовок, тут же рядом на полу дремали солдаты. Все жители этих мест давно разбежались, окна были разбиты, и внутри жиб гулял ветер.

Рота Махнова была среди тех, кому тяжелее всего дались бои этих дней. Большинство солдат со сведенными от холода руками и ногами, завернувшись в шинели или полушубки, лежали без движения на смерзшемся снегу. Кто-то дремал, кто-то тупо смотрел на свинцовые облака, а некоторые, перевернувшись на живот, тесно прижавшись и согревая друг друга теплом своих тел, о чем-то тихо говорили. В углу двора низкое пламя играло над большой кучей полусырых дров, закипая, вода пузырилась на них и с треском разлеталась в разные стороны. Густой дым поднимался в небо и окутывал крыши. У самого огня сидели несколько солдат и слушали какого-то студента-техника.

— Ты, Алеша, расскажи нам лучше, чего они хотят-то, большевики, — лениво, сквозь зубы, спрашивал очень худой мужик с большими голубыми глазами и распухшими губами. — Говорят, землю всем роздали, фабрики — народу, шахты...

Алеша улыбнулся и горячо стал говорить в ответ:

— Чего хотят? Землю роздали и фабрики забрали — это правда, но только что толку, если весь смысл при том убили? Не помните, как было при них? Мужики ничего в города не везли, заводы встали, угля не было...

— Ну, сейчас-то ничуть не лучше, — отозвался кто-то рядом.

— Но было-то и по-другому! — ответил на это Алеша. — В России голод, мороз в домах, а мы в Сибири как сыр в масле катались. Всего у нас сколько хочешь.

— Кроме свободы, — пробурчал кто-то третий. — Едва от войны отдохнул, дело наладил или начал пахать, мобилизацию объявляют. Ходят по дворам с винтовками! Nadojelo, ей-богу!

— Что ты говоришь, дурак! — разозлился Алеша. — А там, у большевиков, что, думаешь, служить не будешь? Или думаешь, в их Красной армии нет дисциплины? Да еще хуже, brates, чем у германцев...

— Бррр, — от этих слов мужик с голубыми глазами вздрогнул, он два года тому назад вернулся из немецкого плена, откуда-то из Пруссии. — И не вспоминай! До сих пор как подумаю про германцев, так руки и чешутся задать им.

— А вот еще говорят, что их самих-то, большевиков, немцы-то и придумали, — спросил кто-то из тесного кружка у огня, — правда, нет?

— Глупости! — откликнулся долговязый молодой человек с черными глазами и интеллигентным лицом. — Ленин об этом большевизме еще до войны книжку выпустил. Я сам читал, когда на Путиловском работал, в Питере был на заработках, много тогда чего читал.

— Вот же дались вам эти большевики, все не угомонитесь с разговорами о них! — вставил в сердцах какой-то уже немолодой унтер. — Заскучали по ним, или что? Холуи они жидовские, и больше ничего.

— Вырезать их всех! Погром устроить! — зазвучали голоса.

— Да что толку от погромов. Сто их вырежешь, двести народится. Самим нам учиться надо, чтобы смысл во всем был. Так же, Алеша?

— Так, — кивнул в ответ Алеша.

— Ну а что, для смысла нам разве надо большевиков или жидовских политиков? Что, мало русских с головой? — не успокаивался унтер. — Образованных побольше надо, демократии, учредительное собрание собирать. Собраться всем вместе православным людям на славу России. А мы только грызем один другого, как собаки!

— Де-мо-кра-ти-я... — по слогам выговорил солдат с голубыми глазами и вытащил из кармана какой-то листок. — Тут, наверное, о ней и пишут. Сегодня утром с аэроплана сбрасывали. Алеша, прочитай нам, что тут. Небось как раз о демократии и пишут?

Алеша взял в руки листок и посмотрел на него. Это была прокламация «Политического центра», подробно объяснявшая его политику. Алеша стал неторопливо, с нескрываемым тоном проповедника, читать предложение за предложением. Солдаты его слушали и согласно кивали головами.

— Все правда... ей-богу, — звучало со всех сторон.

— Грех воевать против них, — даже несмело кто-то сказал из солдат, — лучше бы соединиться. Это же братья наши.

— А правда, Алеша, что Семенов отдал японцам половину Сибири?

Алеша лишь пожал плечами. Где-то за воротами громко закрипел снег, и во двор вошел инженер Махнов.

— Подъем, rebjata! — приказал он негромко, но решительно.

Все тяжело и неохотно зашевелились. Алеша вскочил и схватил винтовку одним из первых. Другие потягивались, с большим трудом отрывали тела от земли, а поднявшись, шли на подгибающихся ногах, словно пьяные.

Где-то за воротами грохнул выстрел, один, другой... Потом залп. Все невольно прислушались и оживились.

— Будет сегодня жарко, — прошептал долговязый солдат, обращаясь к товарищам.

— Эх, было бы лучше бросить все. Собака и та от такой жизни сохнет. Может, закончится сегодня... — в ответ пробормотал его сосед.

— Так думаешь? — внимательно посмотрел ему в глаза долговязый.

— Убегу! Сыт уже по горло! Тем, что в казармах сидят под замком, уж куда как лучше!

— Которые bunt устроили?

— Да! Валяются себе на нарах да чаек попивают. «Не будем, ваше благородие, воевать. Там братья наши», — только и говорят полковнику. «Да я вас всех прикажу расстрелять», — он им грозит. «А и пожалуйста, ваше благородие», — усмеваются они только в ответ, и полковник злой уходит ни с чем.

Стрельба на улице усиливалась. Шальные пули поминутно влетали во двор и крошили стену. Инженер Махнов о чем-то тихо поговорил с Алешей, потом повернулся ко всем и коротко объявил:

— Будьте готовы! Мы находимся в резерве, и полковник мне пообещал, что нас вызовет лишь в случае самой крайней необходимости. Он знает, как вы устали, и хочет вас побереечь. Но помните, если позовет нас, то дело серьезное.

— Постараемся, — отозвалось несколько голосов. Большинство же лишь что-то пробурчало и только проводило пустыми глазами фигуру Махнова, вновь исчезнувшую во тьме.

Стрельба между тем не умолкала, и цепочка ружейных огоньков на другом берегу виднелась все отчетливее и отчетливее.

А в это время по Большой улице ползла вдоль домов группа вооруженных граждан под командой какого-то поручика, который без усталости приглушенным голосом ругал и подгонял отстающих.

— Živo, gosudar мой, — торопил он какого-то полноватого курьика в кожаной куртке, на пару шагов отставшего от всех.

— Эй, вы! Поаккуратнее с винтовкой. На зайцев, что ли, вышли? Смотрите, убьете кого-нибудь, даже винтовку не умеете носить. Эх, Боже мой! Вот же солдаты! — выдохнул со злобой.

— Стой! — наконец приказывает поручик, когда на конце улицы открылось предместье. Здесь воздух дрожал от выстрелов, и пули с гудением и свистом носились над мостовой. Все прижались к стенам и с ужасом смотрели во тьму, где каждую минуту вспыхивал огонек и грохал выстрел.

* * *

В то время как у моста завязался и крепчал бой, со стороны Глазкова по глади замерзшего Иркуты⁶⁴ длинная колонна «народной армии» вышла на берег Ангары и уже по ней начала движение в сторону Знаменского предместья, чтобы соединиться с повстанцами и совместно начать наступление на город. Сразу напротив собора от колонны отделился арьергард, развернулся в цепь и направился к иркутскому берегу, в то время как сама колонна продолжила движение к Знаменке. Это была та самая черная масса, которая так обеспокоила полковника, когда известие о ней принес кадет.

Цепь беспрепятственно приближалась к берегу, который обороняли кадеты из училища и добровольцы, куда не была наконец замечена дозорами, открывшими по ней стрельбу. Начался бой, ставший для полковника неожиданным. Он понял, что глазковцы пошли на помощь знаменским, но ошибочно решил, что речь идет о попытке внезапного прорыва правым крылом неприятеля его оборонных линий с целью войти в город со стороны Ангары. И хотя в своих линиях там полковник был вполне уверен, он все же для верности дал приказ поручику, который до этого стоял со своими добровольцами на Большой улице, чтобы тот немедленно двинулся к Ангаре и усилил обороняющихся там. Сам полковник, как ему представлялось, имел достаточно резервов у Ушаковки, чтобы удержать мост до прихода настоящего уже подкрепления в виде новых частей Скипетрова и офицерских формирований. Но в самой глубине души он больше полагался на японцев, которые в последнюю минуту все-таки вмешаются и не дадут повстанцам взять Иркутск.

Поручик немедленно развернул вверенных ему добровольцев и быстрым маршем повел обратно. Все почувствовали облегчение.

— Куда это он нас ведет назад? Не в город ли? — все радостно перешептывались.

Но на первом же перекрестке поручик повернул вправо и повел свою группу к площади перед собором, а оттуда вновь к берегу реки, где огонь был еще более яростный, чем у Ушаковки.

— Рассредоточиться, — приказал поручик. Его люди приникли к стенам домов по обе стороны улицы и, вжавшись в стены, шли, дрожа от страха и напряжения так, что ноги отказывали слушаться. Навстречу им спешил совсем молодой парень, маша окровавленной рукой.

— Быстрее, — бросил он на ходу, минуя поручика.

— Глазковцы? — спросил поручик.

— Они! Черным-черно, — прорычал, не останавливаясь, кадет и схватился за запястье своей кровящей руки.

⁶⁴ Иркут — левый приток Ангары. От Глазкова в 1919 году его отделяло не слишком широкое Порт-Артурское предместье. Иркут впадал в Ангару точно напротив Казанского православного собора (см. комментарий «Электростанция», глава XVI), и от его устья до устья уже Ушаковки, правого притока Ангары, примерно километр по льду Ангары.

— Вперед! — закричал поручик. — Рассредоточиться в обе стороны, держать дистанцию между собой и к берегу!

Самые первые из группы, выбежав из улицы и оказавшись на свободном поле, среди которого блистали огоньки, трещали выстрелы и свистали пули, остановились, охваченные паническим страхом. Один из первых, какой-то чиновник в барашковой шапке на голове, внезапно споткнулся и схватился руками за голову. Потом дернулся вперед и повалился на землю с глухим стоном. Человек, оказавшийся рядом, задрожал и с выпученными глазами уставился на тело лежащего перед ними товарища и на темнеющий от крови снег у его головы. Охваченный ужасом от увиденного, человек внезапно отбросил винтовку и, развернувшись, кинулся по улице наутек.

— Куда, с... сын! Назад! — заорал на убежавшего поручик и, мгновенно схватив за оба плеча, сжал их своими железными руками, словно клещами. Стоя на месте, не попадая зуб на зуб, беглец смотрел огромными расширившимися глазами в глаза поручика.

— Fu ty, — прогудел поручик и, выпустив чужие плечи из рук, сплюнул. Белый как смерть чиновник, словно загипнотизированный, медленно развернулся, поднял с земли винтовку и быстро-быстро побежал вперед. И после этого уже одна за другой стали выбегать и с той, и с другой стороны улицы фигурки, немедленно занимавшие свободные места между уже лежавшими в линию обороняющимися.

— Ó, husaŕi! — улыбнулся, заряжая винтовку, один из лежавших в снегу кадетов. — Вон туда! Извольте стрелять, куда вам любо. Блеснет огонек, так прямо по огоньку, — советовал новому соседу. — Там где-то рядом и голова будет, — и, словно желая показать пример, сам прицелился туда, где только что сверкнуло красное пятнышко, и выстрелил.

Наступавшие остановились. Яростная стрельба, разгоревшаяся с удвоенной силой после подхода подкрепления, им недвусмысленно дала знать, что здесь не прорваться. Но в конце концов это и не было их целью. Согласно приказу, все, что необходимо было здесь сделать, это связать боем части обороняющихся, пока главные силы подходят к мосту.

Повстанцы быстро поняли, что иркутяне всерьез восприняли этот вспомогательный маневр и послали наступающим через Ангару подкрепления, чтобы окончательно укрепить обороняющихся в убеждении, что именно здесь главное направление прорыва, а у моста ведется лишь отвлекающий огонь. Полковник и в самом деле поверил в это и стал отправлять на свой левый фланг подкрепление за подкреплением. В конце концов у него остались в запасе лишь инженерная рота и двести юнкеров, которых сам он держал на случай самой крайней нужды. Должно было подойти еще подкрепление из города. Но его все не было, и это несмотря на то, что полковник посылал в штаб за ним сначала одного казака, а потом и другого.

Тем временем на левом фланге разгорелся уже нешуточный бой. Винтовочные выстрелы сливались со стрекотом пулеметов и взрывами ручных гранат так, что временами казалось, что распахнулись двери ада. Но и у моста стрельба усиливалась, цепочка огоньков от выстрелов все густела и скоро превратилась в одну волнующуюся огненную линию. И волна эта приближалась. Пули летели теперь прицельно и, коротко просвистев, зарывались в землю прямо перед позициями.

— Серьезное дело! — тихо сказал в какой-то момент своему соседу долговязый поручик с деревянной ногой.

— Не знаю, не знаю...

— Да гляньте, они уже на реке, — вдруг объявил седой фельдфебель.

— И точно, svoloĭ!! Ну, сегодня, наверное, согреемся как надо. Поработаем штыками.

— Ну, штыками так штыками, — кто-то пробормотал рядом.

На снегу реки уже отчетливо был виден ряд черных точек, между которым время от времени вспыхивал яркий огонек выстрела. Ряд приближался с какой-то математической неумолимостью, а за ним уже серел и новый ряд.

— Чернота-то какая. Словно гнус! — пробормотал студент, лежавший за поваленной будкой. Он был бледен, и его била дрожь.

Два паренька в казацких фуражках невольно прижались один к другому и вдруг перестали стрелять.

— Ты видишь, Петя? — прошептал младший, — Конец нам. Не одолеем!

— Не болтай, Володька! — тихо ему ответил другой, схватил за руку и крепко стиснул. Володе же хотелось заплакать.

Полковник мрачно глядел на приближающегося неприятеля, время от времени бросая отчаянные взгляды в конец улицы, не идет ли подмога. На лбу у него собрались морщины и заблестел пот.

— Эх, проклятые! — гневно обратился он к Махнову, возникшему рядом. — Сквозь землю, что ли, провалились? Сколько их дурака где-то валяет, а тут каждая рука на вес золота. Идите, друг мой, к юнкерам и передайте приказ, чтобы половина вышла на позицию. Вторая вместе с вашими пусть пока остаются в резерве.

Инженер Махнов тотчас же ушел, и уже через минуту полурота юнкеров высыпала из двора и с быстротой молнии разбежалась по берегу, чтобы занять места в редующей цепи обороняющихся. За большой кучей гравия кричал и корчился от боли раненый банковский служащий-доброволец. Другие раненые молча отползали в тень улицы. Одновременно грохнув, сто выстрелов юнкеров ошеломили наступающих, и на какое-то время они прекратили движение. Но очень ненадолго. Вскоре цепь на реке снова пошла вперед. Уже можно было в ней различить отдельные фигуры. Стали видны не только огни залпов, но и дым от них, а от самих очень близких выстрелов закладывало уши, как от пушечных. Потом вдруг показалось, что противник устал стрелять. И сразу за тем встала во весь рост черная цепь на белом снегу, как будто из-под земли поднялись люди, и воздух наполнил глухой рев множества глоток.

Полковника передернуло. Он в мгновение ока обежал глазами эту, казалось, не имеющую конца ни справа, ни слева черную цепь. Он еще раз бросил последний отчаянный взгляд в широкую, пустую улицу, потонувшую в беззвучной тьме. Ничего в ней не двигалось, даже намек нет на подкрепление. И тогда уже вскочил, бросился к открытым воротам двора и дико закричал:

— Все выходим!

Юнкера побежали, как молодые львы. И за ним, словно стая волков, выскочила и поднятая Махновым инженерная рота.

— Пулеметы! — кричал полковник и вздымал руки к низкому небу.

Из окон бараков застрочили пулеметы, и веер пуль полетел в ряды неприятеля, широкой цепью идущего в наступление на берег.

И только тогда... тогда, когда первые ряды в бешеном прорыве, переступая через корчящихся раненых, уже полезли вверх по крутому берегу, чтобы кинуться в штыковую на защитников Иркутска, раздался со стороны улицы звонкий цокот копыт, и к полковнику подлетел задыхающийся гонец.

— Бегите, кто может! — он закричал, словно безумный. — Все бежали! Бежали на саях еще вечером. В «Модерне» ни одной живой души!

— Что-о-о? Да ты не рехнулся, парень? — прошипел мгновенно побледневший полковник. Инженер Махнов подскочил к казаку и схватил его коня за узду.

— Честно слово, ваше благородие! — пытался вырваться казак. — Все уехали! Горд как вымер!

— А генерал Сычев? А Скипетров?

— Давно, еще вечером уехали.

Страшный грохот сотряс воздух. Совсем рядом упала в снег ручная граната и взорвалась с диким треском, засыпав стоящих поблизости обломками железа, камнями и глиной. Один осколок железа вонзился коню в живот, и тот взвился на дыбы, казак разразился проклятиями и дернул поводья. Вскинувшись на дыбы, конь вырвался из рук Махнова и опрометью кинулся прочь вдоль берега.

— Бегите, кто может! — успел еще раз крикнуть объятый ужасом казак, прежде чем хлестнул коня нагайкой и исчез во тьме.

— Что этот черт кричал? — переспрашивали друг у друга солдаты.

— Все кончено! Все бежали из города! Бежим и мы, bratci! — объявил кто-то со слезливым надрывом.

— Ура! — заорали тысячи глоток где-то впереди.

Задние ряды обороняющихся дрогнули. Несколько человек бросили винтовки и начали отходить.

— Назад! — закричал полковник и стал у них на пути. Люди остановились, но те, кто ранее последовал их примеру, уже напирала сзади. Солдат с голубыми глазами из роты Махнова оказался лицом к лицу с полковником. Голубые искры в глазах солдата угрожающе сверкали.

— Назад! — еще раз крикнул полковник и, размахнувшись, ударил замершего перед ним солдата по лицу. Солдат тяжело зарычал и, резко дыхнув в лицо полковника, рванулся всем телом вперед так, что полковник упал. Солдат прыгнул ему на грудь, а с нее уже в темноту улицы, а за этим солдатом и второй, и третий...

— Остановитесь, bratci! — с надрывом крикнул Алеша, приподнимаясь над кучей щебня, чтобы сделать последний выстрел из винтовки, которая была уже такой раскаленной, что жгла ему руки. Он только успел полуобернуться, но не договорил, запнувшись и перестав ощущать язык. Что-то острое вонзилось Алеше в затылок, и он схватился за горло. Резкая боль свела ему скулы, и слезы сами собой выступили из глаз. Он еще успел увидеть мгновенно расширившимися глазами, как инженер Махнов с карабином в руках пытается остановить бегущих, а потом свет вокруг Алеши погас, и он упал головой на кучу щебня. Кровь хлестала у него изо рта от сквозной раны в затылке, в который вошла пуля.

— Дети мои, дети! Остановитесь! — срывающимся голосом кричал Махнов и водел стволом карабина из стороны в сторону, словно хотел таким образом остановить весь безумный поток бегущих. Наводящий ужас рык «ура» летел уже с обрыва речного берега, тупые удары прикладами, одиночные выстрелы, хрип раненых, проклятия и вопли доносились со всех сторон. Повстанцы навалились на тех, кто еще стрелял. Десятки прикладов разом обрушилось на головы Пети и Володи, одноногий поручик попытался вскочить, но, лишь привстав, тут же повалился, проткнутый штыком. Бледный студент отбросил винтовку и опрометью нырнул в поток убегающих.

Инженер Махнов отчаянно бился с этой волной, но в конце концов кто-то схватился за ствол его карабина и толкнул вперед, и тогда поток словно подхватил самого Махнова, завертел и с неодолимой силой втащил в улицу. Это была грозная, не знающая преград волна обезумевших от страха людей, бежавших во тьму по мостовой, исчезавших в боковых улицах, во дворах, бросавших оружие и прятавшихся в заброшенных сараях и загонах для скота. И вдруг она схлынула, и инженер Махнов оказался один посре-

ди широкой улицы. Теперь на него накатывала уже масса повстанцев, затопившая мост и белую ширь реки, вливавшаяся теперь и в улицу, и неумолимо накрывавшая город.

Инженер Махнов понял, что все проиграно. И в это мгновение последняя ясная мысль пронеслась у него в голове. Он вытащил револьвер из кармана брюк и приставил его к виску. Грохнул выстрел, и Махнов упал на землю, как срезанное дерево. Толпа гудела и редела, приближаясь. Кто-то, предварительно хорошенько пнув сапогом голову, схватил лежащее тело за ноги и отбросил с мостовой на тротуар.

Иркутск был взят.

* * *

В тот же вечер, едва лишь стемнело, в окошко моей комнаты постучали. Я выглянул наружу и увидел Васи́ла Иннокентьевича в русской шинели и с парашоу на голове, на которой косо́й полосой была пришта красно-белая⁶⁵ ленточка. Поднятый до самых ушей воротник так закрывал лицо, что моего старого знакомого едва можно было узнать. Я быстро оделся и вышел. Васил Иннокентьевич буквально дрожал от волнения, и глаза его беспокойно всматривались в уличную тьму.

— Поскорее, — сказал он, подавая мне руку. Он не скрывал, что напуган. — Думаю, что сегодня все кончится. Город словно вымер. Вы знаете, что в штабе все уже готово к бегству. И на вокзале как будто новые правители уже ведут переговоры с союзниками.

Я усмехнулся.

— Это обычная история. Я не удивлюсь, если сам Сычев уже за Байкалом.

Со стороны Знаменки долетали уже первые, еще одиночные выстрелы начинавшегося боя. Дорогой нам, кажется, не встретилось ни одной живой души. Мы дошли до здания моей школы, где размещались наша канцелярия и автомобильная рота. Я завел Васи́ла Иннокентьевича в свой кабинет, где спали два брата, фельдфебель С. и десятник В.⁶⁶.

— Привел вам гостя, ребята, — сказал я коротко и познакомил с Васи́лом Иннокентьевичем. Ребята приняли его дружески и не выразили ни малейшего удивления по поводу его появления у нас. В этом здании уже спрятался не один такой герой из тех, кому надоело воевать и кто только ждал, когда в Иркутске наступит тишина. Фельдфебель С. сейчас же побежал принести *kirjatok*, чтобы честь по чести угостить гостя чаем.

Между тем Васи́л Иннокентьевич совершенно успокоился и в кругу наших ребят за чашкой чая с водкой даже оживился.

— S Bohem, — я попрощался с ним. — Чувствуйте себя как дома. Здесь вы в полной безопасности, на нейтральной территории. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — бодро ответил мне Васи́л Иннокентьевич и горячо пожал руку.

Я вышел в темную, морозную ночь. Над Ушаковкой уже вовсю гремела стрельба и разгорался бой. А по широкой улице к арке⁶⁷, на которой разместилась надпись «Путь к Великому Океану», ехала вереница саней и всадников. Это покидал Иркутск Сычев.

⁶⁵ Цвета чешского национально-освободительного движения и опознавательный знак чехословацких военнослужащих.

⁶⁶ Это не единственные имена, скрытые автором в повествовании, что очевидным образом должно подчеркивать как документальный, так и автобиографический характер романа Адольфа Земана. Ну, или Адольфа Войтеховича, как принято величать повествователя в кругу многочисленных русских друзей и героев романа.

⁶⁷ По всей видимости, Амурские ворота. «Амурские ворота — триумфальная арка в Иркутске. Находилась на улице Амурской (ныне Ленина), у Заморской заставы, откуда начиналась дорога на Байкал. Открыты в 1858 в честь заключения русско-китайского Айгунского трактата, определившего

Глава XX

Утренний туман и сумрак еще стояли над городом, но на улицах уже было оживленно. Иркутск в одночасье изменился. С тротуаров его улиц исчезли привычные фигурки высокомерных русских чиновников с форменными фуражками на головах, не светились больше золотом погоны на офицерских шинелях, и не блистали сопровождающие офицеров дамы элегантными нарядами. Улицы заполнились простыми людьми самого разного вида, бодро шагавшими по тротуарам и проезжей части и громко разговаривавшими. На здании гостинцы «Модерн» уже развевался красный флаг⁶⁸, и по какому-то удивительному волшебству он же висел и на стенах других домов, на тех же самых местах, где вчера еще был русский трехцветный. Город словно окунули в красное, и только наши чехословацкие флаги на занятых нашими учреждениями домах как-то разнообразили общий вид. Всеобщий шум и движение были неописуемыми.

Я поторопился к школе на Троицкой улице, чтобы убедиться в том, что с моим подопечным все в порядке. Но когда я зашел к себе в кабинет, то не нашел там Василя Иннокентьевича.

— А где Васил Иннокентьевич? — спросил я, очень удивившись.

— Да черт бы знал, — ответил брат С. — С ночи, как только узнал о свершившемся перевороте, был как на иголках. Ребята пришли с этой новостью около полуночи, и уже после этого никто не спал. Только под утро улеглись. Просыпаюсь, смотрю в угол, где он лежал, — пусто. Ну, думаю, вышел на минутку, и не особенно беспокоюсь. Да только он все не возвращается. Тут проснулся и Вашек⁶⁹. Стали мы уже ждать вдвоем, но без толку. И тут Вашек додумался заглянуть под стол, вытащил что-то оттуда и говорит со смехом:

— А птичка-то перья сбросила, — и показывает эти царские цапки.

С этими словами брат С. подал мне споротые погоны, которые нашлись под столом.

«Ночью сбежал», — подумал я, и на душе мне стало легче. Я был скорее рад, чем огорчен, избавившись от лишнего беспокойства. И конечно, у всех наших стало легче на душе просто оттого, что сражение за Иркутск закончилось. Мы были рады, что прекратились никому не нужные убийства, беспокоившие и даже угрожавшие нам самим.

Между тем город ожил и ликовал. Люди снова могли свободно полной грудью вдыхать воздух нового времени, слушать горячие фразы meetingových ораторов, философствовать на углах улиц у горящих костров с извозчиками и сплевывать шелуху семечек подсолнуха на белый снег. Но это не было похоже на страстную бурю революции. Это была спокойная радость от добытого счастья, которое заставило себя так долго ждать и теперь уже не должно было уйти. Не было никаких диких сцен мести, которых первоначально все с ужасом ждали, не было грабежей и убийств бывших противников. Солдаты с красными ленточками на шапках и груди походкой усталых людей просто ходили по улицам и собирались на углах перекрестков, где росли и шумели группки людей. В середине всегда оказывался какой-нибудь оратор, вскочивший на приступок у угла дома или на сани любопытного извозчика у самого тротуара. Оратор что-то жарко говорил, обращаясь к толпе. На стенах появились прокламации

государственные границы. Разобраны по причине ветхости в 1920-е». http://irkipedia.ru/content/amurskie_vorota_v_irkutske.

⁶⁸ Красный флаг не был исключительной принадлежностью носителей большевистской идеологии.

С этим же цветом и флагом идентифицировали себя все левые, включая и эсеры.

⁶⁹ Сокращение от чешского имени Вацлав.

«Политического центра», сообщавшие о новой демократической власти и о созыве городской думы. Рои мальчишек носились вокруг, звонкими голосами выкрикивая последнюю телеграфную новость о сложении Колчаком властных полномочий. Новые люди входили в гостиницу «Модерн», чтобы принять наследство, оставленное колчаковской эрой, видные деятели которой в это время в страхе прятались где-то на Транссибе под охраной чехословацких штыков. Но Колчак уже никому был не нужен. Он стал разом фигурой прошлого, слава которой трагическим образом закатилась в те же самые дни, когда и взошла, в самую годовщину объявления об омской диктатуре⁷⁰.

Город кипел. Всюду шевелились кучки людей, составленные из обывателей и солдат с красными полосками на рарáchách, ленточками на груди и на эфесах сабель. Понемногу начала переводить дух и ошарашенная вначале буржуазия, и тут и там можно было уже видеть на улицах фигуры известных в городе людей. Кругом шум и движение, смесь выкриков и приветствий. Где-то ударила музыка. И показался типичный русский оркестр тех времен, собранный из пленных мадьяр и немцев, некогда игравший колчаковцам, он теперь шествовал по городу, украшенный красными ленточками, и исполнял «Марсельезу». А среди всего этого общего беспорядка ходят наши патрули, согласно договору с новой властью следящие за соблюдением порядка. Мальчишки выкрикивают названия новых демократических газет, а из соседних с главной улицей домов и улиц осторожно, словно крысы, вылезают давние знакомые. Офицеры старой армии, ныне без погон, без шпор и звенящих сабель. Исчезли и kokardy с фуражек. И снова их лица необыкновенно дружелюбны, приветствуют издалека и радостно кричат:

— Слава богу! Drugaja vlast', drugie porjadki. Těper bŭdět charašó. A to ŭže žit bylo něvozmožno.

С улицы, ведущей к главному храму, двигаясь к гостинице «Модерн», вываливается толпа молодежи и солдат, она захватывает меня в свой водоворот. В общей толпе и сани, в которых за могучей спиной izvoščika расположились два человека в армейских шинелях. Когда, несомый общим потоком, я оказываюсь возле саней, кто-от наклоняется ко мне и радостно кладет руку на плечо.

— Адольф Войтехович, — весело звучит у меня в ухе.

Удивленный, бросаю взгляд в ту сторону и вижу Васи́ла Иннокентьевича с красной лентой на груди.

— Наконец пришло то, чего мы все так страстно ждали! — говорит он громко и демонстративно, словно нараспев произнося каждое словцо. — Ну и слава богу!

И будто горечь мне наполнила рот. Само собой вспомнилось все то, что происходило всего несколько часов тому назад. Что вы только не пели в эти дни, Васил Иннокентьевич? Как вы поносили демократию и как до небес возносили Семенова, Колчака, Сычева и еще черт знает кого! Как раздавали оружие, чтобы только потом залезть в чулан в доме своего приятеля и там под крышей, закрывшись на замок, ждать, чем все закончится! А теперь... «слава богу». Будете опять присягать на верность теперь новой власти и предлагать уже ей свои услуги. Что же это будет за убогая демократия, что же это будет за убогая власть, если она станет опираться на таких, как вы, Васил Иннокентьевич!

⁷⁰ Это не вполне верно. Колчак пришел к власти и получил диктаторские полномочия в результате переворота, состоявшегося в Омске 18 ноября 1918 года. В свою очередь, Политический совет объявил о полном контроле над Иркутском в два часа ночи 5 января 1920 года. Но поэтический образ «преступления и наказания», роковым образом свершившихся в один и тот же день с разницей в год, кажется тут, у Земана понятным и даже оправданным.

Толпа продолжала валить вперед и быстро оттеснила меня от саней, которые исчезли среди голов за углом улицы. А я сам на ближайшем перекрестке уже смог вынырнуть с проезжей части на тротуар.

— Ой! — встретил меня женский вскрик. Еще чуть-чуть, и я бы столкнулся с Марией Михайловной.

— Простите, — приветствую ее с улыбкой оправдания, — я от всего происходящего немного не в себе.

Лицо Марии Михайловны вспыхнуло. На нем еще оставались следы легкого раздражения, но блестящие глаза уже горели огнем радости, переполнявшей Марию Михайловну.

— Я так рада... так рада, — повторила она, пожимая мне руку. Потом вдруг запнулась, покраснела и упавшим голосом прошептала: — Что же теперь Васил Иннокентьевич?

— О... я минуту назад его повстречал. Может быть, и вы его еще там увидите, в саях. Он теперь целиком ваш...

— Что это значит? — улыбнулась Мария Михайловна.

— Ну... то, что он теперь красный по самую макушку, — рассмеялся я с плохо скрываемой иронией, — с красным бантом на груди и...

— В самом деле? — вскрикнула Мария Михайловна. — Вы говорите правду? Он не бежал? Он остался здесь?

«Пока да, не бежал», — подумал я невольно и сказал: — Кажется, он присоединился к новой власти.

— Ох, что же теперь скажет отец? — счастливо засмеялась Мария Михайловна совершенно детским смехом, в то время как ее глаза жадно вглядывались в толпу, заполнявшую улицу, словно в надежде где-то среди нее увидеть сани, везущие Василя Иннокентьевича.

— Вы ведь, конечно, не откажетесь прийти к нам сегодня, — пригласила она меня, прощаясь. — Мы же должны отметить нашу победу, не так ли?

Я пытался отговориться, но не слишком убедительно и в конце концов должен был пообещать прийти.

Целый день город торжествовал, а в среде демократов кипела работа. Нигде не вспыхнуло никаких беспорядков, и от этого стало казаться, что новая власть и в самом деле имеет поддержку у людей и в будущем у нее окажется достаточно сил, чтобы уже не выпустить из своих рук бразды правления.

Вечером я отправился к Марии Михайловне.

Встретила она меня радостно, был всем доволен и Михаил Петрович. Весь вечер он оставался в приподнятом настроении и очень доверительно развивал перед мной идею «Политического центра» о создании демократического государства в Восточной Сибири, которое могло бы стать буфером и защитой как от большевизма с запада, так и от реакции с востока, он рассказывал мне об очень давней подготовке переворота, о тайном зимнем съезде земского и городского самоуправления⁷¹, на котором был избран специальный комитет⁷², который находился в постоянном контакте с комитетами социал-демократов и партии социал-революционеров.

⁷¹ По всей видимости, речь идет о прошедшем 11–24 октября 1919 года в Иркутске нелегальном земском совещании делегатов шестнадцати областных и уездных земств из Иркутской, Енисейской, Томской губерний, а также Алтая и Владивостока.

⁷² Иркутское земское совещание избрало «Земское политическое бюро», главной задачей которого действительно являлась подготовка антиколчаковского переворота.

— Прямо сейчас идут переговоры об организации временного правительства, — говорил Михаил Петрович с нескрываемым воодушевлением, — и это будет настоящая демократическая власть из представителей земств, городов, сельских союзов, рабочих профсоюзов и нас, политического центра.

Наш разговор тек свободно, словно река, когда внезапно кто-то позвонил у ворот дома. Мария Михайловна, которая давно уже проявляла признаки какого-то беспокойства, вздрогнула, бросила на меня немного смущенную улыбку, а потом, быстро глянув уже на отца, сказала:

— Пойду посмотрю, кто там, рара, — и с этим словами побежала отворять. До нас донеслись звуки какого-то приглушенного разговора... Через минуту вошла Мария Михайловна, вся залитая краской румянца, и, снова посмотрев на меня все тем же немного растерянным, но красноречиво зывавшим о помощи взглядом, подошла к отцу и что-то начала ему шептать на ухо.

Михаил Петрович сначала весь помрачнел и строго глянул поверх очков на дочку. Потом он посмотрел на меня и как-то при этом необыкновенно улыбнулся, одновременно и саркастически, и презрительно. Я не мог понять, что он хотел этим выразить. Потом он снова внимательно посмотрел на дочь, и внезапно взгляд его стал теплеть. Наконец Михаил Петрович махнул рукой и пробурчал как бы разом и полусерьезно:

— Лучше бы он сбежал. Много от него толку нам тут не будет. Ну... — помолчал и только через минуту добавил: — Зови, раз пришел.

Мария Михайловна захлопала в ладоши, как ребенок, обняла отца за шею и жарко поцеловала. После чего сейчас же убежала в сени и через секунду появилась снова в комнате, ведя за собой словно сопротивлявшегося Васи́ла Иннокентьевича. Он выглядел помолодевшим. Казалось, что испытания последних дней, физические и душевные, не только подсушили его тело, но и придали его лицу выражение какой-то одушевленности с оттенком легкой меланхолии.

С необыкновенным почтением Васил Иннокентьевич подошел в Михаилу Петровичу и, поклонившись, тихо сказал:

— Простите, Михаил Петрович! Я ошибался. Поверьте, в эти дни произошел во мне глубокий переворот, я прошел через тяжкие душевные муки. Но теперь всему этому конец. Я душой и телом ваш.

Мария Михайловна мечтательно смотрела на своего возлюбленного, и было видно, что в то же время ей страшно, не отвергнет ли отец его. Михаил Петрович с минуту молчал, а потом, протянув Василу Иннокентьевичу руку, негромко сказал:

— Ну что же... увидим!

Потом быстро взглянул на часы и озабоченно стал подниматься с кресла.

— Ах, дети... — произнес Михаил Петрович со вздохом. — А мне ведь надо бежать на совещание. А то могу и не стать министром, — добавил он, шутя, и сразу же затем ушел.

Мы остались одни. Мария Михайловна уселась рядом с Василием Иннокентьевичем на широкий диван, покрытый бухарским ковром, а я стоял у окна, какое-то время барабанил пальцами по холодному стеклу окна, на котором мороз волшебным образом сотворил чудесный цветок. Внезапно я почувствовал себя совершенно глупо в этой комнате, где именно сейчас, как из земли, поднимались ростки любви и ее вновь обретенного счастья. Я быстро попрощался и тут же ушел.

Как же в тот вечер должна была быть счастлива Мария Михайловна, если избыток этого счастья достался и моему ко всему уже охладевшему сердцу, так что окрасил весь окружающий мир в не свойственные ему краски, залил каким-то розовым све-

том все, не исключая и Васи́ла Иннокентьевича. В моем сердце вдруг опять возникло что-то похожее на симпатию к нему. И я стал верить, что его душа переродилась, трагические события последних дней очистили ее от всей той мути, которую туда нанесли внешняя среда и неодолимые обстоятельства, как нанесли они, быть может, в добрую половину всех русских душ.

Глава XXI

Васил Иннокентьевич был вновь в центре событий. Его можно было видеть везде, и везде он горел огнем энергии, которая вновь в нем пробудилась.

— Верите ли, Адольф Войтехович, — сказал он мне, когда я его встретил идущим из казарм, — это может показаться сном. Но как теперь стучит сердце, когда всюду такая радость и покой. Как замечательно в такое время быть в среде своих молодцов, которые отлично знают, за что будут воевать и за что будут умирать.

Мне делалось неприятно от таких тирад Васи́ла Иннокентьевича. С одной стороны, я вновь быстро терял всякую веру в его слова, а с другой — мне и без этого лучше кого-либо было ясно, какой трагический оборот могут принять нынешние события.

Слабость новой власти стала заметна с самых первых дней ее существования. Падение ее готовила не только красная волна, которая шла вслед за нашими отходящими частями с запада, но и враг гораздо более страшный — внутренний большевизм, который показывал свои рожки и тут и там все более открыто. Васил Иннокентьевич при всем при том не умел смотреть на мир вокруг себя ясными глазами. Возможно, в этом-то и состояло его простое счастье, что вело его легко через все перипетии жизни, любому другому давно бы уже вложившие в руку револьвер.

Между тем люди, близкие к новой власти, уже начали осознавать, насколько не просто складывается для них ситуация. К Михаилу Петровичу одному из первых пришло отрезвление после первых дней эйфории, и когда как-то вечером я вновь заглянул к нему в гости, его лицо было сумрачно и выражало крайнюю озабоченность. В то же время Мария Михайловна, казалось, совсем утонула в своем счастье и точно так же, как и Васил Иннокентьевич, утратила ясность взгляда и ту свою характерную способность предвидеть развитие событий, которая когда-то меня в ней так восхищала. Покуда она была занята оживленным разговором со своим суженым, Михаил Петрович сел в свое широкое кресло, покрытое туркестанской накидкой, и знаком руки предложил мне занять соседнее. Когда я это сделал, он с тяжелым вздохом спросил:

— Нуž... что у вас нового?

— Радостного мало, — ответил я.

— Да, да... — согласился Михаил Петрович. — О Красноярске уже знаете?

Я вопросительно посмотрел на Михаила Петровича.

— Это первая крепость, которую мы сдали без боя. Местные большевики объявили советскую власть, и наши части просто перешли на их сторону⁷³. И так будет везде.

— Вы, мне кажется, слишком пессимистичны, — попытался я возразить.

— Ни в малейшей степени, — сказал Михаил Петрович. — Того главного, что нам необходимо, армии, мы не имеем. Мы оказались генералами без войска.

— А как же Калашников, Решетников⁷⁴, — вмешался в разговор Васил Иннокентьевич, — и вся Народная армия?

⁷³ Речь идет, по всей видимости, о событиях, происходивших в Красноярске 4–6 января 1920 года.

⁷⁴ Rješetnikov — очевидно, один из руководителей Народно-революционной армии. К сожалению, никаких иных сведений об этом человеке в доступных переводчику источниках обнаружить не удалось.

Михаил Петрович горько усмехнулся.

— Народная армия! Да разве ей можно верить? В Красноярске тоже был полк Народной армии. А теперь все они носят пятиконечную звезду. Люди нам просто уже не верят. В войсках идет непрерывная большевистская агитация, и она развращает даже те части, на которые еще вчера можно было вполне полагаться. Агитируют против нас, против нашей демократической идеи, не стесняются никаких слов и вымыслов, лишь бы только оттолкнуть от нас людей.

— Ну а как же демократы, интеллигенция? Разве это не та сила, на которую можно опереться? — попытался возразить я.

— Знаете, и это как раз самое трагичное, в ней тоже произошло перерождение, которое играет на руку большевикам. Вы покрутитесь сейчас среди них! И знаете, что услышите? Полная капитуляция и совершенно фаталистическая вера... в советский режим! Смеетесь? Смейтесь, смейтесь! Но только в этом и есть настоящая трагедия и русской революции, и нашей демократии. Никогда она не имела настоящей веры в саму себя, а ныне ее потеряла окончательно. Всегда полагалась на кого-то другого: сначала на вас, чехов, потом на союзников, потом на японцев, а теперь... пришла очередь Советов. И только одно совершенно ясно в час этой трагедии, что у нас на глазах происходит пробуждение народного⁷⁵ самосознания.

Михаил Петрович на минуту умолк, а затем продолжил:

— Да... как ни парадоксально это звучит, но это так. Большевики оказались выразителями *nacionálního* единства и цельности всего русского народа.

Я был поражен.

— Но позвольте, как раз вашу программу, — начал я говорить, — никак нельзя начать подозревать в ненародности. И кроме того, вы опираетесь на широкие социалистические и демократические слои общества, которые большевизм просто хотел бы вообще исключить из общественной жизни. Таким образом, идея единства — суть вашей программы.

— Вы правы. Никто, как мы, — горько усмехнулся Михаил Петрович, — и раньше, и теперь не думал так много, видит Бог, и так искренне об интересах России, как мы. Созываем, как вы знаете, временное сибирское совещание и хотим созвать также сибирское учредительное собрание, в котором будут участвовать представители всех демократических сил. Мы прекратили конфликт с советской властью, и, более того, наша делегация предлагает ей совместно в союзе выступить против японцев и Семенова. У нас есть совершенно точные сведения, что и советская власть благосклонно смотрит на наш план создания «буферного государства», которое станет преградой для желтой опасности... но только все это не получится. Поверьте мне!

⁷⁵ Народный или народное самосознание — здесь достаточно сложный пассаж для верной передачи смысловых оттенков, которые автор вкладывает в речи своих героев. *Národní* — при точном переводе «национальный», но приходится учитывать и то обстоятельство, что русское название «Народная армия» автор переводит на чешский как *Národní armáda*, Национальная, а вовсе не *Lidová armáda*, Народная, как было бы правильно. На первый взгляд здесь та же привычная ситуация, когда русские туристы называют Национальный проспект (*Národní třída*) в Праге Народным, только в зеркальном отражении. Однако крайне важно, что происходит это не чисто механически. Автор романа такой сознательной или несознательной путаницей пытается и русскую революцию, и русскую Гражданскую поставить в контекст краеугольного в ту пору для чехов вопроса о собственном национальном сознании и возрождении, незрелость восприятия которого, непоясненность и непонимание, в приложении уже к России и ее национальным интересам, для многих чешских авторов, заметим в скобках, представляются в начале прошлого века первоосновой и первопричиной противоречивых метаний не только русской интеллигенции, но и людей самых простых и массовых социальных страт огромной нашей страны.

— Но почему же? — спросил я с удивлением.

— А потому, что в нас не верят! Даже наши собственные сторонники не верят, что этот план исполним, и отдают предпочтение советскому режиму. Левые эсеры уже публично провозгласили необходимость принятия советской системы и сотрудничества с большевиками. Растут силы и местных большевиков, и они уже поднимают голову, опираясь на вооруженные банды партизан, которые мы пока держим в узде, но неизвестно, как долго сможем это делать.

— В среде рабочих распространяются прокламации о прекращении террора, о подготовке в Москве Лениным долгожданного созыва учредительного собрания, о твердой воле советской власти найти общий язык с другими социалистическими партиями и так далее. Советская власть рисует себя как идеал мирной, уже демократической власти. Все эти рассказы так красивы и действуют так магически, что и в кругах буржуазии начали в них верить. И стоит ли удивляться, что начинает повсеместно возобладать такой взгляд на происходящее: «А зачем нам опять что-то новое, зачем организовывать какую-то местную власть, когда у нас уже есть общерусская, сильная, проверенная, которая лучше, чем какая-либо иная защитит нас и от реакции, и от желтой, чужеземной опасности?» Вот вам и объяснение того, как большевизм превращается в символ всенародного единства. Вот вам и объяснение моего пессимизма.

Склонил я задумчиво голову и в конце концов был вынужден согласиться, что Михаил Петрович, по всей видимости, прав. Не меньше моего, казалось, был поражен и Васил Иннокентьевич, тоже опустивший голову и хмуро смотревший в пол. Одна лишь Мария Михайловна продолжала как-то меланхолично смотреть перед собой на белые ледовые цветы, буйно цветущие на окне, но и она в конце концов тяжело вздохнула.

Уходил я, ощущая себя необыкновенно утомленным, как после долгой физической работы. Трескучий мороз звенел натянутыми телефонными проводами, и снег скрипел под ногами, как песок. Улицы были пустынными. Тоскливо было на улицах Иркутска, а в комнате неприветливый холод. Очень трудно было найти и уголь, и дрова, и мы все сидели в нетопленных квартирах и кабинетах. Связь с востоком оказалась нарушена, в продуктах и иных товарах ощущался недостаток. Крестьяне боялись везти в город продукты, потому что большевистские и повстанческие банды грабили их по дороге. В городе начинался голод. Были случаи грабежей с жестокими убийствами, которые вызвали панику. Множились бессмысленные нападения и на улицах, пьяные солдаты избивали офицеров и нападали на прохожих. Японцы незаметно группами выводили свои силы из города, и единственной силой, способной ныне оберегать жизни и имущество граждан, стал наш гарнизон, присутствие которого хоть как-то сдерживало большевиков. Во всяком случае, известный предводитель повстанцев Карандашвили и его банда не осмеливалась заходить в город.

В то же время, несмотря ни на что, и в эти трудные дни продолжали без задержек через город проходить на восток наши воинские эшелоны, им еще предстояло преодолеть немало препятствий, которые чинил их движению Семенов с молчаливого согласия японцев, очень заинтересованных в том, чтобы нас как можно дольше задерживать в Сибири. На западе передовые отряды большевиков, не встречая вооруженного сопротивления, продолжали быстро продвигаться вперед и нагоняли наш арьергард, движение которого очень затрудняли забитые поездами и во многих местах поврежденные железнодорожные пути. И везде, куда подходили красные войска, они уже находили почву, полностью подготовленную для них партизанами, и за спинами наших отходивших солдат буквально смыкалось и покрывало Сибирь море большевиз-

ма. Именно в те дни, когда шли решающие бои за Иркутск, последние наши эшелоны оставили Красноярск, прикрываемый лишь частями польского легиона, и тут же власть в городе была захвачена большевиками, сразу провозгласившими советскую власть. Михаил Петрович сказал правду!

Все большая и большая тревога охватывала нас от тех неясных и мрачных новостей, которые сыпались и с востока, и с запада. Мы оказались словно в клещах, из которых не могли вырваться. С трагической определенностью мы возвращались к той же самой ситуации, в какой мы были весной 1918-го, когда с запада на нас у Бахмача накатывалась немецкая волна, а на востоке нас задерживали рогатки советского недоверия⁷⁶.

Между тем морозы крепчали, и воздух, выходя изо рта, превращался в иней. Трубка примерзала к губам, и кожа на лице горела, как в огне. И мы, те, кто пребывали в тепле, в городе, не могли не переживать за наших братьев, которые все еще находились где-то в дороге, в неуют, холоде и в постоянной тревоге за свою жизнь и имущество. Разговоры о том, что Семенов задерживает наши эшелоны, а японцы отбирают паровозы, вызывали гнев, а новости о боях нашего арьергарда с Красной армией и возможном его окружении и отсечении от нас удручали.

Тоскливые вечера мы проводили теперь все вместе в огромных казармах. Жить в отдельных, разбросанных по городу частных квартирах стало небезопасно. Было известно даже о некоторых случаях нападения на отдельных наших братьев, которых сердечные дела завлекали на окраину города. Из всех расположенных на железной дороге мест приходили новости о росте большевистских настроений, и новый переворот казался неизбежным, на этот раз он должен был стать советским. Общее настроение ухудшалось, люди замыкались, становились злыми и часто ссорились. Опять появились среди нас политиканы, и кое-кто из братьев краснел на глазах. Чехословацкие «граждане», из тех, что не записались в армию сами, а были мобилизованы сразу после объявления независимости Чехословакии, служили не с душой, а за деньги, стали красными едва ли не поголовно. Окончательно переметнуться на сторону большевиков им мешала лишь неуверенность, где они больше выиграют, оставшись с нами или перебежав к красным. Большевистские прокламации обещали всем чехословакам, которые сдадутся добровольно, «общее помилование» и переправку на родину через запад, в то время как нас уже ждали пароходы во Владивостоке. На что решиться? Выбор был тяжелым. Большинство наших все же не соблазнилось посулам, и в том, что это было счастливое решение, нас впоследствии убедила судьба поляков⁷⁷. Подозрительность и вспыльчивость проявляли себя по малейшему

⁷⁶ Речь идет об отходе русского Чехословацкого корпуса из Украины после заключения большевиками Брестского мира в марте 1918 года. Справедливость требует отметить, что большевики не чинили особых препятствий в тот момент проходу чехословацких эшелонов через главную, тогда узловую, связывающую Украину и Россию станцию Бахмач, которую из-за ее важности для эвакуации всех сил пришлось чехословакам самостоятельно и героически защищать. Большевистское недоверие и прямое противодействие движению чехословаков во Владивосток с целью последующего ухода на Западный фронт Первой мировой относится к более позднему периоду (апрель—май 1918-го). Здесь, таким образом, легкая поэтическая натяжка, технически называемая метафорой.

⁷⁷ «7 января 1920 г. части польской дивизии достигли станции Ключвенная (120 верст на восток от Красноярска). Стало ясно, что дальше пути нет, так как вся дорога забита чешскими эшелонами, которые из-за недостатка топлива и неисправности локомотивов не могли двигаться дальше. Поляки встали перед альтернативой: продолжать борьбу или капитулировать. Когда 10 января военный комиссар 5-й армии предложил полякам сложить оружие, то В. Чума после военного совета с высшими офицерами дивизии принял это предложение.

к тому поводу. Начали вспыхивать давно забытые личные и партийные конфликты. Наше единство, отличавшее наше освободительное движение с первого дня его существования, не признававшее ни классовых, ни партийных различий, всех вдохновлявшее одной общей идеей братства, стало рушиться. Какой-нибудь пустяк вызывал спор, немедленно перераставший в тяжелую ссору. Остро запахло той старой Австрией, на глазах оживавшей во всех давних противоречиях классовой и идеологической предвзятости, что так буйно цвела в нашем старом доме. Мы грызлись друг с другом, как собаки. Зло косились и избегали один другого. Вынужденное пребывание в тесных, общих комнатах казарм, в которых мы когда-то находили столько поэзии, ныне нас только бесило, и хотелось бежать, чтобы побродить в одиночестве по улицам.

Но и прогулки по городу с некоторых пор уже не доставляли прежней радости. Власти «Политического центра» относились к нам дружески и гарантировали свободу отхода на восток. Зато остро ощущалась та прохлада, с какой на тебя смотрели теперь глаза простых обывателей. Они словно говорили: скорее бы вас уже смыло отсюда. Большевистским кругам мы мешали начать задуманный ими переворот, а демократически настроенный слой населения уже давно ни на какую поддержку с нашей стороны не рассчитывал. Что касается буржуазии, то она нас просто тихо ненавидела. Калашников со своей Народной армией все еще оставался хозяином положения, но и в ее рядах все больше и больше ширились прокоммунистические настроения.

В один из дней, когда мы сидели у себя в *jizbĕ* и убивали долгое время бесконечной полемикой, вбежал в нашу комнату один из братьев и объявил:

— Ребята, ну, началась побелка!⁷⁸

Ни один из нас не понял толком, что он имеет в виду. Но всех внезапно охватило предчувствие освобождения от невозможного давления обстоятельств. Каким спасительным всегда было это слово «побелка». Она всегда означало для каждого из нас готовность лицом к лицу встретить самую большую опасность, готовность, что всех нас в одну секунду сблизала и снова объединяла в один братский союз. В один миг снимала проклятие несговорчивости. Глаза сами собой увлажнились, и друг на друга мы начинали смотреть с такой лаской и любовью, в которой только и была порука наших общих чаяний и общей силы. И каждый из нас, еще минуту назад готовый пе-

Условия капитуляции предусматривали следующее: польская дивизия сдает оружие, офицеры и солдаты дивизии считаются военнопленными, польским военнослужащим гарантируется личная неприкосновенность. Те из поляков, кто не признал капитуляции, во главе с полковником К. Румшей решили через Иркутск пробираться в Маньчжурию...

Что касается большинства солдат и офицеров польской дивизии, которые признали условия капитуляции, то их положение было нелегким. По сведениям бывших пленных поляков, ни один из пунктов условий капитуляции не был большевиками выполнен. Офицеры, солдаты и их семьи были ограблены. Женщины и дети оказались на улицах Красноярска фактически без средств к существованию...

Из капитулировавших польских солдат, которые не захотели вступать в Красную армию, была сформирована «Енисейская рабочая бригада». Всего в Красноярском лагере находилось примерно 8 тыс. пленных поляков. Продовольственный паек военнопленных был недостаточным. Поначалу пленные получали полфунта хлеба, конину и рыбу. Охрана, состоявшая из «интернационалистов» (немцы, латыши и венгры), грабили их, так что они оставались почти в лохмотьях [16. С. 364]. Сотни пленных стали жертвами эпидемии тифа. Тяжелым было положение пленных, которые находились в Томске на принудительных работах, иногда они не могли ходить от голода. В целом Р. Дыбосский оценивает потери польской дивизии убитыми, замученными, умершими в 1,5 тыс. человек». Островский Л. К. Польские военные в Сибири (1904–1920 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 316. С. 91.

⁷⁸ См. комментарий к слову *bilit* в главе XVI.

регрызать соседу горло, теперь уже готов был биться за него насмерть, и беда тому, кто посмел бы хоть на кого-то из нас поднять руку.

Брат, который принес нам столь важную весть, был немедленно окружен и засыпан нетерпеливыми вопросами: «Что случилось?», «Где?», «Рассказывай поскорей».

Но брат, с удовольствием испытывая наша терпение, сначала не спеша набил трубочку, и только за первым клубком дыма последовало продолжение:

— Всё ему наши разъяснили, как и следовало.

— Да кому же? — раздались крики.

— Семенову!

— Трах-барабах! — не выдержал тут кто-то из братьев. — Вот уж давно было пора!

— Да ты рассказывай, черт тебя возьми, — повторяли другие. — Чего тянешь вола за хвост?

— Ну сейчас, подождите, — не торопясь стал наконец рассказывать брат все в подробностях. — Вы сами знаете, что Семенов не хотел пропускать наши эшелоны и даже грозился взорвать туннели. В то время как части Скипетрова были отправлены в Иркутск, основные свои силы Семенов сосредоточил на забайкальской дороге и перестал пускать наших телеграфистов к телеграфным аппаратам. Всех это быстро допекло, и подполковник Жак⁷⁹ получил «ату», чтобы эту шайку разогнать. Выполнил все безукоризненно... Ребята на «Орлике»⁸⁰ вместе с третьим и четвертым полком likvidovali всю эту компашку, и теперь вся «дикая дивизия», Скипетров с его штабом, сто сорок три офицера, тысяча двести сорок солдат — наши пленные⁸¹. А еще трофеи — пять бронепоездов, Ches slovo! Теперь мы к Владивостоку не поедem, а полетим. Первая дивизия уже в Верхнеудинске.

— А что же японцы?

— Примчались, как на пожар. Наши им отдали Скипетрова и вернули ему оружие⁸².

Но теперь он нам уже не помеха!

— Пусть бы только попробовал еще раз помешать, — тут же объявил какой-то герой.

Эта новость с востока нас необыкновенно воодушевила. К нам вновь вернулись вера в наши собственные силы и осознание того, что только в единстве гарантия безопасности. Теперь с освобождением путей движения на восток оставалось лишь беспокойство о наших братьях на западе, о положении которых не было достоверных сведений.

⁷⁹ Жак Милош (Miloš Žák, 11.06.1891—16.05.1970) — в описываемое время начальник штаба 1-й чехословацкой стрелковой дивизии. До войны учился на философском факультете Карлова университета, в плен взят летом 1917-го в чине поручика. И сразу подал просьбу о вступлении в чехословацкие вооруженные формирования в России. По окончании офицерской школы на разнообразных командных должностях. В начале Гражданской на Урале был ранен. Вернулся в строй. В независимой Чехословакии продолжил службу в армии. Стал дивизионным генералом. Активный участник антинацистского сопротивления. С 1943 года в немецком концентрационном лагере. Вернулся на службу после освобождения страны, но был уволен после коммунистического переворота 1948-го, а позднее и осужден. Посмертно реабилитирован.

⁸⁰ «Орлик» — название первого бронепоезда чехословаков, наскоро построенного из подручных средств в Пензе в мае 1918-го в первые дни восстания на Транссибе. Первоначально на вооружении имелось 11 пулеметов и одна пушка. Поэтическое описание чешского «железного волка» можно найти в книге Франтишека Лангера (Langer, František. Železný vlk. Nakladatelství Gustav Voleský, Král. Vinohrady, 1920, s. 109–120).

⁸¹ Разоружение частей Скипетрова чехословаками при поддержке американцев (см. комментарий, глава XVII) состоялось 9 января 1920 года.

⁸² По всей видимости, это не вполне соответствует действительности. Скипетров эвакуировался из Владивостока в 1920 году вместе с частями чехословаков, что позволяет предполагать, что все это время он оставался у них в плену.

Было известно только одно: наш арьергард неумолимо нагоняет Красная армия, но никто не верил, что нас опять ждут бои. Старая слава чехословацких легионов все еще кружила нам голову, и поэтому мы не верили, что красные решатся наших атаковать. Успокаивали нас и давали надежду также вести о том, что правительство «Политического центра» отправило навстречу передовым отрядам большевиков своих представителей, чтобы договориться о мире. Если красные не станут воевать с «Политическим центром», то уж тем более не станут и с нами. И все же судьба наших братьев не переставала всех беспокоить, ведь им не только угрожали наступавшие прямо на них большевики, но и отряды партизан и справа, и слева, и сзади. Великое счастье, что одновременно с нашими уходили на восток и каппелевцы⁸³, от которых напуганные партизаны убегали в тайгу, как от огня.

Глава XXII

Пророческие слова Михаила Петровича неумолимо оправдывались. Правительство «Политического центра» не имело сил и, главное, доверия к себе ни в широких народных кругах, ни в городской среде. Это была последняя попытка русской демократии проявить себя хотя бы в Средней Сибири, лебединая ее песня, угасшая из-за недостатка внутреннего огня. Ее власть оказалась лишь временной и способной лишь обеспечить мирный переход к советскому режиму без дальнейших страшных потрясений и продолжения ужасов Гражданской войны. На западе от Иркутска уже через несколько дней после провозглашения власти «Политического центра» начали организовываться Советы, левые эсеры повсеместно налаживали контакты с партизанами, и, по сути, уже начала проводиться советская политика. Одновременно с этим усиливалась большевистская агитация и в наших частях.

После того как мы узнали о славной победе над семеновцами, на смену подавленности, которая до этого царил в наших рядах, пришло буйное воодушевление. Поезда, оказавшиеся на востоке, наконец продолжили движение, а с началом этого движения и к нам всем вернулась прежняя вера в нашу силу и нашу фортуна. Совсем иначе обстояло дело на западе, где по-прежнему царили уныние, неверие и малодушие.

И буквально ударом в сердце каждого из нас оказалось пронесшееся, словно молния, в середине января известие: «Вся третья дивизия окружена! Красная армия обходным маневром отрезала наши эшелоны, и идет кровавый бой!»

Такие рассказы переходили из уст в уста и делались все ужаснее и ужаснее по мере своего движения на восток. Это были тяжкие минуты, когда показалось, что мы все можем вновь быть ввергнуты в то отвратительное, подавленное состояние, из которого всего лишь несколько дней назад счастливо вышли благодаря победе над семеновцами. Что было особенно тяжело после недавнего упоения от успехов.

Но слава богу, продолжалось смятение всего несколько часов, покуда не стало ясно, что в действительности происходит и что катастрофа постигла лишь ту часть арьергарда, которую составляли поляки и сербы. Отходя, польские части арьергарда оказались в очень тяжелой ситуации, которая требовала железных нервов и решительности прежде всего командования. К сожалению, личный состав польских легионов принципиально отличался от личного состава чехословацкой армии. Ему не были свойственны те идейное единство и воодушевление, которыми отличались солдаты

⁸³ В данном случае речь об остатках колчаковской армии, командование которой Колчак передал генералу Каппелю 12 декабря 1919 года.

нашей армии, хотя и среди поляков было немало революционно⁸⁴ настроенных людей с высоким самосознанием, но все же большинство вступили в ряды армии, чтобы только получше устроиться или просто избежать мобилизации в русскую. Солдаты, во множестве своем необразованные, не были на высоте тех требований, которые предъявляла эпоха, и не понимали необходимости железной, добровольно принятой дисциплины.

Но недостатки этой армии не были недостатками одних лишь только простых солдат, но в равной степени и составлявших ее офицеров. Польский офицерский корпус делился на два разнородных табора: с одной стороны бывшие австрийские или немецкие офицеры из Галиции и Познани, а с другой — русские поляки, и у каждой был свой собственный, отличный взгляд как на командование, так и на подготовку личного состава. Кроме того, сами взаимоотношения офицеров и солдат не пронизывал тот дух братства, что отличал наши части. Стоит ли поэтому удивляться, что подобная армия, оказавшись в отчаянной ситуации среди деморализованных остатков колчаковской армии, с красным чудовищем в своем тылу и бандами повстанцев справа и слева, не могла долго противостоять грозящей ей катастрофе. Физические испытания на поврежденной во многих местах железной дороге, страшные морозы, недостаток топлива, заставлявший солдат не только воевать, но заниматься еще и колкой дров, погрузкой угля, а также носить ведрами снег в котлы паровозов, необходимость постоянно быть начеку и отражать атаки партизан на эшелоны — все это не могло не сказаться на боевом духе польских частей, идейно нестойких и вдобавок к этому соблазняемых большевистскими лозунгами и агитаторами.

Начав отступление от Новониколаевска⁸⁵, после нескольких коротких боев с советскими передовыми отрядами, из которых они вышли победителями, поляки поначалу уверовали в свои силы. Но уже у Тайги⁸⁶ им пришлось сразиться с намного более сильным противником, чем самые первые передовые отряды, и понести довольно значительные потери. С этого момента боевой дух польских частей неуклонно падал, зато усиливался и креп страх перед Красной армией, которую до того момента поляки недооценивали. Только теперь, по-настоящему столкнувшись с ней, они увидели, что наступающие красные — это передовой отряд планомерно обученной и подготовленной армии, а вовсе не масса, как это было когда-то, наскоро согнанных в гурты людей без дисциплины и управления. Страх перед этой силой превратил отступление поляков в паническое бегство, заняв своими эшелонами обе колеи магистрали, они силой задерживали русские поезда, везущие раненых и бегущих колчаковцев, и даже пытались остановить поезд французской военной миссии, эвакуировавшийся из Томска⁸⁷.

⁸⁴ В понятие «революционности» чехи и словаки вкладывали совсем иной смысл, чем большевики-интернационалисты. Речь идет о национальной революции и освобождении из-под «германского (читай австрийского) ига».

⁸⁵ Новониколаевск — дореволюционное название современного Новосибирска. Отход польских частей от Новониколаевска начался в последней декаде декабря 1919-го.

⁸⁶ Тайга — крупная узловая станция на Транссибе, от которой отходит, в частности, ответвление на Томск. Непрерывно прибывавшие эшелоны оттуда, с севера, присоединяясь к потоку эшелонов с западной стороны, в Омск и Новониколаевск, создавали особо нервную и конфликтную атмосферу на станции в ноябре—декабре 1919 года. От Новониколаевска (Новосибирска) до Тайги чуть больше 210 километров на северо-восток.

⁸⁷ Стоит отметить, что командующий всеми союзными силами в Сибири французский генерал Жанен в своих многостраничных воспоминаниях (редакция для чешских читателей: Janin, Maurice. Moje účast na československém boji za svobodu. Praha: J. Otto, 1926, 369 s., далее Janin) не упоминает о подобном эпизоде, зато говорит о конфликтах вокруг паровозов и вагонов на участке Транссиба Тай-

В районе Красноярска панически бегущих поляков остановила наша третья дивизия, как раз завершавшая плановый отход из города. Это произошло в те самые дни, когда шли последние бои частей Сычева с иркутскими повстанцами. Еще до полного отхода наших в Красноярске была провозглашена советская власть, что сделало ситуацию еще более запутанной. Немедленно образовавшийся местный совет не стал препятствовать ни нам, ни полякам продолжать отход, а сам начал переговоры с иркутским «Политическим центром». После того как последний наш эшелон покинул город, через него начали следовать уже польские поезда. К этому моменту перед Красноярском скопились русские поезда с беженцами, которые дальше не пропускал местный совет, и эти поезда стали преградой для последних польских эшелонов и бронепоездов, остановившихся перед путями, занятыми русскими вагонами. В довершение всех несчастий ночью партизаны разобрали большой участок путей впереди, что лишило остатки польского арьергарда последней надежды на возобновление движения по железной дороге, заставив выгрузиться из эшелонов и оставшуюся часть пути до Красноярска пройти пешим маршем.

После этого все находившиеся там польские эшелоны смогли быстро покинуть Красноярск, но боеспособность польских частей была уже полностью утрачена. Деморализация солдат, подогреваемая непрерывной большевистской агитацией, достигла своего пика и в любой момент грозила обернуться самоуправством и убийствами офицеров. Пораженческие настроения охватывали широкую солдатскую массу, люди открыто заявляли о бессмысленности дальнейшего движения на восток и всецело верили большевистским прокламациям, обещавшим точно так же, как и нам, «свободный проход на запад».

Несмотря на все это, польские эшелоны, охраняемые одним передовым и одним замыкающим бронепоездом, продолжали медленное движение на восток, покуда это было возможно. 10 января девятнадцать эшелонов оказались сосредоточены на участке железной дороги между станциями Ключвенная⁸⁸ и Пинчино⁸⁹. Боеспособность армии была низкой, в рядах ее царила всеобщая апатия, у офицерства не осталось ни сил, ни авторитета, какая-либо дисциплина просто отсутствовала. Разведка и служба охранения бездействовали, поэтому появление советских передовых отрядов утром следующего дня стало полной неожиданностью.

В девять часов утра к станции Пинчино подъехали три красных верховых, и на их предложение сдаться весь личный состав стоявшего там бронепоезда сложил оружие.

га — Маринск между чехословаками и поляками. Это разночтение в текстах романиста и непосредственного участника событий в той суматохе, возможно, не столь уже и существенно на фоне полного согласия в оценке как самого боевого духа польских частей, так и причин его упадка («Моральное состояние было плачевным из-за противоречий между австрийскими и русскими поляками, непрерывной большевистской пропаганды и интриг членов бывшего Военного комитета: Janin, с. 320). В заключение уместной будет, видимо, еще одна цитата из воспоминаний генерала, относящаяся к общей оценке состава и возможностей польских частей (дивизии) в конце 1919 года: «На 10/XII. Согласно донесениям, дивизия была размещена в 57 эшелонов (согласно донесениям, при 10 наличных паровозах), которые везли 1050 офицеров, 11 200 рядового состава, 2071 коней (!!!), семьи, общим числом 3000 человек, 284 инвалидов, амуницию, продукты и фураж на 4 месяца, а также вагоны с углем, необходимым на путь до Ачинска» (Janin, с. 321).

⁸⁸ Ключвенная — с 1972 года станция Уяр. Сам населенный пункт был переименован в Уяр ранее — в 1944-м. От Красноярска до Ключвенной (Уяра) чуть больше 90 километров на восток.

⁸⁹ Пинчино — станция и поселок в Уярском районе Красноярского края. От Красноярска до Пинчина чуть больше 60 километров.

После этого верховые отправились дальше на запад⁹⁰ к стоящем там эшелонам с тем же предложением. Солдаты и там ответили согласием, сложив свои винтовки сначала на путях, а позднее перенесли все оружие в один выделенный вагон. И только через полчаса после всего этого, вслед за верховыми к станции Пинчино вышли роты три красных, примерно двести человек, и заняли ее саму.

Таким, можно сказать, опереточным образом и был взят красными в плен весь польский арьергард, который должен был бы быть заручкой безопасности как чехословацкой, так и всех прочих частей союзнической армии. Но еще большим свидетельством шкурничества и деморализации польских солдат стало то, что последовало уже немедленно вслед за капитуляцией. Все польские эшелоны еще два дня после нее, никем фактически не охраняемые, простояли на своих местах, прежде чем были отправлены, и вновь без всякой охраны, обратно в Красноярск. Судьба доверившихся большевикам польских солдат печальна. Вместо обещанного «свободного прохода на запад» поляки были загнаны либо в лагерь военнопленных, где их охраняли мадьярские коммунисты⁹¹, либо насильно направлены восстанавливать железнодорожные пути, а то и работать в анжерские угольные шахты. Большая же часть поляков вступила — неизвестно, добровольно ли, или просто спасая свою жизнь — в Красную армию. Некоторой части польских офицеров все-таки удалось уйти на восток, судьба же оставшихся неизвестна. Та же участь, что и польский арьергард, постигла и присоединенный к ним сербский полк майора Благодича⁹².

Следствием польской катастрофы было обнажение тыла нашей третьей дивизии, которая таким образом оказалась в непосредственном соприкосновении с Красной армией. Командование нашей армии, желая избежать напрасного кровопролития, попыталось начать переговоры с командованием регулярной Красной армии. Однако большевики, воодушевленные легкой победой над деморализованными поляками, подогреваемые и неверно информированные чешскими коммунистами из числа бывших военнопленных, полагали, что и наши части находятся в том же состоянии, в котором были поляки, на основании чего они отвергли какую-либо возможность переговоров и категорически потребовали и от нас капитуляции, милостиво предложив взамен всем нам вновь вернуться к унижительному положению военнопленных. Этот милостивый жест обдал холодом даже самых миролюбиво настроенных из наших братьев и уже тем более тех, кто призывал пойти навстречу Советам. При этом большевики не ограничились одними лишь попытками напасть. Среди местного населения всюду шла агитация против нас, свой главный упор в своих доказательствах нашей враждебности делавшая на ту роковую обязанность, что была на нас возложена союзниками, — охрана Колчака и его золотого запаса⁹³.

⁹⁰ На запад — так в романе: «jeli pak podél stojících ešelonů zpět na západ». Возможно, просто редакционный недосмотр и надо читать «на восток». С учетом того, что станция Пинчино — самая западная на указанном автором ранее участке Пинчино—Клюквенная, и замечания о том, что замыкал цепочку эшелонов, то есть по логике вещей был последним с западной стороны, бронепоезд.

⁹¹ Венгерские коммунисты и позднее, уже в мирное время, продолжали распоряжаться судьбами, а то и жизнями военнопленных Первой мировой и Гражданской, по разным причинам оказавшимся на территории уже освобожденной Советской России. См., например, главу воспоминаний о возвращении на родину из-под Ташкента через Петроград поздней зимой 1920-го Франтишека Тихого (Tichý, František. Turkestan: 1915—1920. Hradec Králové: Fr. Tichý, 1923, с. 164—192).

⁹² Точнее было бы — имени майора Благодича, поскольку герой Казанского фронта Матия Благодич погиб в августе 1918-го во время одной из первых попыток захвата Романовского моста на Волге.

⁹³ Необходимость взять под охрану как самого адмирала, так и эшелон с золотом, по воспоминаниям генерала Жанена (Janin, с. 318), возникла после того, как генерал Николай Лохвицкий, ранее ко-

Враждебность населения и Советов из-за этого стала настолько серьезной угрозой для нас, что в конце концов главнокомандующий союзными войсками генерал Жанен дал приказ перевезти Колчака и эшелон с золотом в Иркутск⁹⁴.

Обстановка в самом городе делалась все тревожнее. Власть понемногу уходила из рук «Политического центра», который стремительно терял поддержку Народной армии. Властям пришлось разрешить создание вооруженных рабочих дружин и даже дать разрешение на то, чтобы в город вступили повстанческие банды Карандашвили. Недисциплинированная, бандитская шайка не удержалась от грабежей и ничем не оправданных реквизиций, немедленно напугав обывательство. Рабочие между тем все настойчивее требовали выдачи Колчака.

Наше воинское командование делало все возможное в этих условиях, чтобы максимально ускорить нашу эвакуацию. Из-за недостатка вагонов эшелоны становились все короче, зато в каждом вагоне оказывалось все больше и больше людей. Наши *tёрлуšky*, столько времени бывшие нам уютным домом, в каждой из которых с удобством, с учетом, конечно, «условий Сибири», размещалось четырнадцать или шестнадцать братьев, теперь превратились в подобие ада, вмещающая уже двадцать четыре человека со всем их скарбом. Готовился к отъезду и наш штаб. В этой обстановке у меня не было времени с кем-либо в городе встречаться. И несколько дней подряд я не виделся ни с Василием Иннокентьевичем, ни с Марией Михайловной.

Когда же скорый отъезд штаба казался уже неминуемым, я все же решил еще раз заглянуть к Марии Михайловне.

Отца ее дома не было, только Васил Иннокентьевич.

— Пришел, потому что пора понемногу прощаться, — сказал я с улыбкой после того, мы обменялись рукопожатиями.

— Теперь уже и вы от нас уезжаете, — меланхолически проговорила Мария Михайловна. Васил Иннокентьевич, в отличие от нее, весь встрепенулся.

— Это означает, что вы оставляете город на произвол судьбы? Японцы ведь тоже уходят.

— Наверное, — ответил я коротко.

— А когда точно едете, уже известно? — тихо спросила Мария Михайловна.

— Пока нет, но ждем приказа в любую минуту. Эвакуация идет ускоренными темпами. Как и переговоры с красными, но вы, должно быть, знаете...

мандированный лично Колчаком на восток для организации подготовки переезда в Иркутск Ставки и правительства, обратился с просьбой о защите непосредственно к генералу Жанену, необходимость чего генерал Лохвицкий обосновывал тем обстоятельством, что в своем движении от Красноярска к Иркутску эшелон Колчака волей обстоятельств (восстания в Верхнеудинске, Черемхове, Глазкове и т. д.) оказался в центре крайне враждебно к бывшему Верховному правителю настроенного народного моря. Жанен пошел Лохвицкому навстречу и в час ночи 25 декабря 1919 года направил телеграфом приказ командующему чехословацким гарнизоном в Нижнеудинске взять под охрану эшелоны Колчака, таким образом мгновенно противопоставив чехословаков, о чем и пишет в романе Земан, восставшим сибирякам, не только ненавидевшим адмирала за бесчисленные преступления его приспешников, включая вызвавшее особую общую ненависть жестокое убийство на Байкале в дни иркутского восстания группы эсеров-земцев, взятых ранее колчаковцами в заложники, но и опасавшимся того, что русское золото при содействии союзников может быть просто вывезено из России.

⁹⁴ Этот приказ генерала Жанена на практике с учетом нежелания могущественных в тот момент японцев разделить с чехословаками союзническую ответственность за судьбу Колчака, внезапно оказавшегося отрезанным от вполне еще боеспособных остатков своей армии (капеллевы), что было, впрочем, его собственным решением, на полностью враждебной ему территории означал фактическую передачу самого адмирала и его золота в руки «Политического центра».

Васил Иннокентьевич горько усмехнулся.

— Да-да. Вот уже и вы, чехи, ведете переговоры с большевиками! — произнеся это, он весь вдруг зарделся и заговорил взволнованно и раздраженно: — А с нами-то что будет? Чему навстречу несемся? Колчака, говорят, уже везут как арестованного.

— По-видимому, — я снова ответил коротко.

— И что же будет? — тяжело вздохнул Васил Иннокентьевич. — Как только вы уйдете, новый переворот неминуем. А это значит, придут Советы. Коммунисты уже сейчас открыто поднимают головы. И уже сегодня требуют, вы слышали, арестовать всех бывших офицеров как контрреволюционеров.

В ответ я только пожал плечами. Васил Иннокентьевич стал бледен, и губы его нервно подергивались.

— И что же делать? Что делать? — повторил он несколько раз потерянным голосом.

— Уедете! — само собой невольно вырвалось из моих губ.

Васил Иннокентьевич усмехнулся и бросил взгляд на Марию Михайловну, которая от его взгляда нервно пошевелилась.

— Ах... если бы только Мария Михайловна захотела, — тихо прошептал Васил Иннокентьевич.

Мария Михайловна посмотрела на него долгим и внимательным взглядом, а потом покачала головой.

— Нет... — негромко, но очень твердо сказала она. — Останусь здесь.

В ответ на это Васил Иннокентьевич только развел руками и посмотрел на меня каким-то удивительным образом, словно хотел сказать: «Ну вот видите! Как вам это?»

Мрачное настроение внезапно охватило всех нас, и я остро почувствовал, что мое присутствие здесь действует на всех угнетающе.

— Пойду, — сказал я, поднимаясь.

— Я провожу вас, — объявил Васил Иннокентьевич, поднимаясь вместе со мной. Мария Михайловна осталась сидеть, как сидела, в состоянии какого-то глубоко безразличия и весьма холодно попрощалась и со мной, и с Василием Иннокентьевичем.

Морозная ночь приняла нас в свои суровые объятия, и мы пошли по улице, остро ощущая, как холод захватывает все существо каждого из нас. Стояла мертвая тишина, и дорогой мы не встретили ни одной живой души. Лишь изредка то там, то здесь мог мелькнуть одинокий огонек за замерзшим окном какого-нибудь дома. Главная улица тоже была темна, слабо освещенная светом лишь некоторых отдельных, далеко друг от друга отстоявших дуговых ламп.

Мы шли молча. И только спустя некоторое время Васил Иннокентьевич нарушил тишину ночи глубоким вздохом.

— Вы слышали, да? Она и слышать не хочет об отъезде.

Я кивнул головой.

— Я уже который день уговариваю и ее, и Михаила Петровича. И все напрасно. И чем все это кончится, скажите, к чему все несется? В конце концов нас просто всех тут перережут!

В голосе Василя Иннокентьевича чувствовался страх, но еще и какая-то затаенная злоба. Говорил он нервно и с плохо скрытой досадой. Из дальнего конца улицы до нас донесся звук шагов, приглушенных снегом, и затем из темноты вынырнула группа плохо еще различимых людей. В свете фонарей блеснула сталь нескольких штыков. Васил Иннокентьевич дернулся и схватил меня за руку. Группа между тем приблизилась и, двигаясь по проезжей части улицы, прошла мимо нас. Среди идущих было несколько русских офицеров с золотыми «epaulettami a pohony» и еще два человека

в гражданских шубах с чиновничьими фуражками на головах. Их окружала и равнодушно сопровождала толпа солдат Народной армии, неорганизованная и шествующая без всякого порядка, с примкнутыми к винтовкам штыками и обнаженными шашками.

Рука Васи́ла Иннокентьевича конвульсивно сжала мою. Я бросил взгляд на его лицо. Оно было мертвецки бледным, а сам он трясся, как осинка.

— Вы видели? — прошептал он.

— Боже мой... Что с вами? — спросил я с беспокойством и досадой.

Васил Иннокентьевич обернулся вслед уходящей группе и потом, внезапно прислонившись к стене ближайшего дома, так бы и съехал по ней на землю, если бы я его не подхватил. В каком-то внезапном истерическом приступе он закрыл лицо руками и зарыдал, как малое дитя. И только одно-единственное слетело с его губ:

— Он...

И тут словно вспышка молнии осветила происходящее в моей голове. Я тоже обернулся на все дальше и дальше уходящую от нас группу людей и, резко притянув к себе за руку Васи́ла Иннокентьевича, спросил:

— В самом деле... он? Колчак?

От моих слов Васил Иннокентьевич словно очнулся и уже молча, без слез, широко раскрытыми глазами проводил в темноту горстку людей, что вели владыку Сибири в заключение. Произошло то, что должно было случиться. Колчак был выдан «Политическому центру», чтобы избежать бессмысленного кровопролития⁹⁵. Когда мы оста-

⁹⁵ Согласно записке генерала Занкевича, начальника штаба Ставки Верховного главнокомандующего, сопровождавшего адмирала на всем его пути от Омска до Иркутска (Занкевич М. И. Последние дни Колчака. Советские архивы», 1966, № 1, с. 48–54), передача Колчака Иркутскому революционному правительству была назначена и, по всей видимости, состоялась на станции Иркутск в семь часов вечера. Это было 15 января 1920 года.

Само решение о том, чтобы выполнить требования Иркутского революционного правительства и передать адмирала в руки восставших, со всей очевидностью было принято непосредственно командующим чехословацкими силами генералом Сирови при полном и несомненном одобрении этого действия его непосредственным начальником генералом Жаненом. В связи с чем кажется уместным привести длинный отрывок из воспоминаний последнего, объясняющий как обстоятельства, так и мотивы такого, по сути, общего решения. Запись от 13 января 1919 года, сделанная в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ):

«Меня вызвал к телефону Сирови, чтобы обсудить со мной опасную ситуацию в Иркутске. Общее озлобление от кровавых расправ еще больше усиливается из-за приближения поездов с золотом и адмиралом. Шахтеры в Черемхове бастуют уже второй день. Объявлено также о всеобщей забастовке железнодорожников. Приходится готовиться к возможному вооруженному нападению на вокзал в Иркутске. Армия [здесь и далее чехословаки] в опасности, и Сирови окажется виноват в том, что не будет возможности везти адмирала дальше. Что же, я ожидал этого разговора уже несколько дней и думал обо всем этом.

Если бы я сам был в Иркутске, то мог бы лично разобраться со всем или, по крайней мере, быть вместе с армией в час опасности, но здесь это невозможно. Чехословаки (а никого другого, кроме них, у меня нет) имеют ясный приказ г-на Масарика не вмешиваться во внутреннюю распря русских. Я сам получил этот приказ, я сам его разъяснял и многократно повторял его суть. Об этом я поставил в известность высоких комиссаров (начальников союзнических военных миссий). И, таким образом, у меня нет никакого права действовать вопреки этому приказу, тем более стать из-за этого виновником гибели армии.

В любом случае мне ясно: чехословаки бы меня и не послушали, и были бы безусловно правы. Последние выходки Колчака, его телеграммы, которые привели к появлению в Иркутске Скипетрова, приказ взорвать байкальские туннели и недавние кровавые расправы довели до предела их отвращение к человеку, который не переставал быть им врагом и продолжал враждебные действия, даже находясь под их охраной. И с этим уже ничего не сделать.

лись одни, Васил Иннокентьевич снова посмотрел на меня, теперь уже отчужденно и тупо.

— Васил Иннокентьевич... пойдете! — сказал я, осторожно беря его за руку.

Он вздрогнул, как от укола чем-то острым.

— Идите... — сказал он холодно. — Оставьте меня! Вы один из них!

И тут же, словно снова придя в себя, голосом совершенно сломленного и ко всему уже безразличного человека стал извиняться:

— Ах, простите, Адольф Войтехович... Не могу... Просто никаких уже больше сил... — проговорил он сбивчиво. — Это ужасно! Выдали его. Предали...

— Ну, с Богом! — внезапно резко выдохнул Васил Иннокентьевич, отступил от меня и, словно убегая, широкими шагами скрылся во тьме.

Глава XXIII

Наконец дождались и мы. Был дан приказ к погрузке в вагоны, и началась неопи-суемая суета и гонка. Связанные архивы, сложенные узлы и сундуки, железные обру-чи и замки. По улицам беспрестанно ездили наши автомобили и свозили наше иму-щество через замерзшую Ангару к вокзалу. На какое-то время мы потеряли интерес ко всему происходящему вокруг и жили только предчувствием дома, от которого нас еще отделяли безмерные пространства и бесконечная гладь морей. Какое уже могли для нас иметь значение все происходившие вокруг политические изменения, что с фатальной неизбежностью следовали одно за другим. Какое нам уже было дело до судеб отдельных людей, Колчака, выданного ради того, чтобы спасти тысячи дру-гих, или будущего самой иркутской власти? Грядущий отъезд словно разом изменил весь наш мир и душевный настрой. То, чем мы до этого жили, все, к чему проявля-ли самое повышенное внимание и интерес, как будто потеряло в этом новом мире свой смысл и значение. Даже вещи, казалось бы имевшие прямое к нам отношение и касавшиеся нашей судьбы, перестали что-то значить, и даже новости о ходе перего-

Но даже если бы было у меня право дать приказ чехословакам охранять адмирала любой ценой, и надежда, что они исполнят все, и даже если это станет действительно вопросом их собственной гибели, разрешила бы мне это моя собственная совесть? Имел бы я право прибавить и это несча-стье вдобавок ко всем тем, что уже навлек на Сибирь адмирал за последний год? Разве он недо-статочно уже пролил крови? И не имеет ли жизнь простого солдата армии ту же самую цену, что и его собственная?

Много мне было дано хороших советов. Но даже отказаться от власти его нельзя было заставить сделать так, чтобы общество поверило в искренность его решения. Но и несмотря е несмотря на это, мне бы его отдали [«Политцентр»], и я бы его спас, если бы бандиты Скипетрова, явившиеся по его приказу, не совершили этих бессмысленных убийств. Тени тридцати одного заложника, уопленных в Байкале, стали теперь на пути его поездов, за которыми еще и следуют тени членов уфимского конституционного собрания, убитых в Омске [в первые дни колчаковского переворота]. Не я ли предупреждал высоких комиссаров о тех последствиях, которые могут иметь для адмира-ла любые покушения на жизнь заложников, и не я ли говорил, что в случае такого я снимаю с себя всякую ответственность уже за его собственную судьбу. В конце концов, не он ли заявил, что сам вступит в переговоры с иркутскими властями и что эти эсеры не столько кровожадны, как его собственные солдаты.

Вот почему мне не потребовалось много времени на то, чтобы принять решение.

— Я не имею никакого права, — сказал я Сирови, — нарушать приказы, которые мне были даны, и дать тебе указания во что-либо вмешаться, если следствием этого станет прямая угроза армии. Делай то, что можно в этой ситуации, сохраняя при этом доброе имя чехословаков. Я твои дей-ствия заранее одобряю» (Janin, с. 336).

воров нашего командования с командованием Красной армии оставляли всех равнодушными. Как будто даже это уже нас не касалось. А между тем рядом с нами медленно близилась к своему неотвратимому финалу трагедия русской демократии. Большевики день ото дня все меньше и меньше стеснялись. «Политический центр» еще отчаянно держался за рычаги власти и ждал новостей из Москвы, как будет принята отправленная туда делегация и ее предложения. Было ясно, что от этого зависит судьба демократической власти. Но новости все не приходили. Зато большевистская пропаганда на месте все набирала и набирала ход. Meetingovali целые дни на улицах и в зале Obščestvenného sobrání⁹⁶. Meetingovali рабочие-большевики и рабочие-социалисты, meetingovali солдаты, часами переливала из пустого в порожнее Городская дума, и толпу в болтовне интеллигенция... Одна программа сменяла другую, и теория боролась с теорией... Одни лишь вожди большевиков действовали решительно и целенаправленно в созданном ими революционном комитете, сокращенно называемом Revkom.

Спротивление действиям самой демократической власти неуклонно росло, Народная армия все сильнее и сильнее большевизировалась, и наконец, посчитав момент подходящим, Revkom просто предъявил «Политическому центру» ультиматум с требованием немедленной передачи власти. «Политический центр» некоторое время еще колебался, колебался, но в конце концов сдался и 25 января передал бразды правления местным большевикам...

Был морозный сибирский вечер, когда Большую улицу заполнила толпа людей с красными флагами и начала праздновать свою так легко давшуюся победу. Солдаты бывшей Народной армии, рабочие в рабочей одежде, немецкие и мадьярские военнопленные с красными звездами на плечах, уже объявленные красными отрядами, ходили по городу, и тот же самый, что еще вчера был «колчаковским», а теперь уже народный оркестр, составленный из все тех же пленных, играл теперь «Интернационал»...

А поздним вечером того же дня пришла из Москвы телеграмма о том, что советская власть признала правительство «Политического центра» и дала согласие на создание bufferného gosudarstva в Средней Сибири. Иркутский же ревком, которому бывшая власть жалобно сообщила об этом решении, в ответ лишь махнул рукой и злобно ответил:

— Naplevat!

* * *

После нескольких месяцев «барской» жизни в обставленной по-европейски комнате и сна на белых подушках я вновь улелся на жесткие доски нар в tēpluške. Но теперь, когда я знал, что повезут они меня к родному дому, стали и эти нары казаться очень мягкими. Трескучий мороз сковывал все, и в город идти не было никакого желания. Там немедленно организовался городской совет, он объявил выборы и сейчас же взял все товары в магазинах на ўсot, иными словами, просто конфисковал, затем пошли реквизиции лошадей, автомобилей, продуктов, которые крестьяне везли в город, и так далее. Короче говоря, началось революционное хозяйствование. Партизаны Карандашвили реквизировали все, что им попадалось под руку, стали нередкими обыкновенные грабежи и убийства. Ночной выход в город стал опасным предприятием, и в один из дней за подобный кто-то из наших офицеров заплатил своей жизнью...

Со дня на день мы ждали команды к отправке, но наша очередь все не подходила. Японцы делали все возможное, чтобы задержать нашу эвакуацию, остро не хватало

⁹⁶ Ныне здание Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова. Современный адрес: улица Ленина, 23.

локомотивов, и поезда хоть и один за другим, но очень медленно уходили на восток. Было лишь несомненно одно: в конце концов уедем и мы.

В дни этого затянувшегося ожидания мне часто в голову приходили мысли о Марии Михайловне, Василе Иннокентьевиче и многих других иркутских знакомых, в кругу которых я прожил целый отрезок моей жизни. Душа уже была где-то далеко, там, впереди, в родном краю, но мысли, словно корни дерева, еще не выпускала из своих глубин русская жизнь, и иногда казалось, не выпустит уже никогда.

Чем неотвратимее становился час отъезда, чем чаще в моей голове возникал образ Марии Михайловны. И наконец, преследуемый им, я все-таки выбрался однажды в город, чтобы уже навсегда с ней проститься. На улицах было пусто. Лавки были закрыты, и пустые витрины печально смотрели на улицы своими запорошенными стеклами, а то и вовсе были закрыты досками. Уличная жизнь замерла, и на тротуарах, где некогда двигались толпы и на каждом углу стояли китайцы со своими лотками, теперь лишь изредка возникали и тут же исчезали одинокие фигурки куда-то спешащих людей. И лишь на главной улице еще оставалась какая-то жизнь, по тротуарам шли люди, и на проезжей части мелькали автомобили и сани.

Здесь я встретил Липочку Балабину⁹⁷. Ее высокая фигура стала совсем худой, и милое лицо вытянулось.

— Ах, Адольф Войтехович! — вскрикнула она каким-то сдавленным голосом. — Вы еще живы?

— Как видите, — я в ответ улыбнулся. — И прекрасно себя чувствую. А как вы?

— Мы? — горько махнула рукой Липочка. — Вы разве не знаете? Отца арестовали. Старые счеты. Он контрреволюционер!

— Как? Вашего отца? — я изумился. — Он ведь давным-давно в отставке. И ни в чем никогда не участвовал.

— Боже мой, — печально ответила Липочка. — Кому собаку надо ударить, тот палку съест.

Расстались мы с Липочкой как два чужих человека. Она выглядела совершенно потерянной, погруженной в какие-то свои мысли, блуждавшие бог знает где. Дойдя до Солдатской⁹⁸ улицы, я свернул на нее и направился к дому доктора Архангельского. Поднявшись на крыльцо, я обнаружил, что обычно открытые двери дома заперты. Я позвонил, и только спустя несколько минут на втором этаже приоткрылось окно, и показалось лицо доктора Архангельского.

— Здравствуйте, — я весело крикнул, — пришел попрощаться.

— Сейчас, сейчас! — отозвался доктор, и я услышал за дверью скрип ступенек под ногами Глаши, которая пришла отворить забаррикадированную дверь, снабженную ныне железным, наглухо закрытым занавесом.

На самой лестнице уже стоял, встречая меня, доктор Архангельский.

⁹⁷ Балабины — одно из русских семейств, куда привела автора и рассказчика любовь к музыке. Липочка — пианистка, выпускница «музыкального училища Императорского музыкального общества», одна из двух дочерей старого отставного жандармского полковника, старика, далеко за семьдесят, как сказано в романе (глава XI): «ветхого, давно уже умершего как для старой, так и для новой жизни».

⁹⁸ В старом Иркутске было шесть Солдатских улиц (I Солдатская, II Солдатская и так далее до VI), шли они одна за другой, отходя вправо от Большой (Карла Маркса) сразу после перекрестка Большой улицы (главной в романе) и Амурской (Ленина), если двигаться в сторону реки Ушаковки. Ныне это Красноармейская, Лапина, Грязнова, Киевская, Богдана Хмельницкого и Литвинова. Какую именно называет Земан просто Солдатской, сказать трудно. Возможно, самую близкую к центру I Солдатскую, в наши дни Красноармейскую.

— Проходите, будьте любезны, — пригласил меня доктор. — Живем тут, как в крепости, всего ныне можно ждать! А вы очень хорошо, что к нам собрались. Мы уж думали, так и уедете, не попрощавшись.

— Но слава богу, пришел golubčik, — закричал доктор, обращаясь к Екатерине Ивановне, которая в эту самую минуту вышла к нам из комнаты. У нее опять была мигрень, и она растирала пальцами виски. Приветствовала она меня, словно больная девица, с унылым выражением на лице и слабым голосом пригласила к столу.

— Давайте угостим вас čajket. Мы как раз за столом, присаживайтесь, пожалуйста!

— Простите, Екатерина Ивановна, — я стал оправдываться, — заскочил к вам лишь на минутку. Только попрощаться.

— То есть и в самом деле все-таки уезжаете? — спросил доктор Архангельский с каким-то привкусом горечи в голосе.

— Совершенно определено.

— А нас оставляете на милость нашей судьбе, — продолжил доктор.

— Ну да, и к лучшему, — неожиданно вмешалась в наш разговор Екатерина Ивановна. — Мы сами тут между собой разберемся!

В ее глазах блеснул огонек нервозности и сильного раздражения. И меня остро кольнула та мука, какую, должно быть, несли необыкновенно чувствительной русской душе события последних дней. Но я молчал, прекрасно понимая, что любая неосторожность, самое невинное словечко может заставить прорваться наружу всю эту тайную боль, и она обрушится тогда на меня неудержимым потоком упреков. И разве это не было общей болью всей русской буржуазной среды? И разве все они не готовы были обвинить нас в предательстве, в том, что оставляем их и бросаем на милость злопамятному и мстительному врагу?

Ушел я от Архангельских с расстроенными нервами и в сильном волнении. Не мог забыть прощального взгляда Екатерины Ивановны, как мне показалось, уже неприкрыто враждебного. Оказавшись на улице, я поспешил к низкому домику, в котором жили Михаил Петрович и его дочь. Я позвонил, но никто на мой звонок не отозвался. Я позвонил еще раз, потом еще раз и уже решил уходить, когда за дверью послышались шаги и в дверном замке заскрипел ключ. Дверь наконец отворилась, и я увидел Марию Михайловну. Боже мой, как она изменилась. Совершенно белое ее лицо было искажено какой-то непроходящей болью. Она была одета во что-то темное, словно в трауре.

Мария Михайловна подала мне руку и повела в комнату, в которых так часто мне случалось проводить в ее обществе прекрасные часы. Здесь она молча кивнула на кресло и, сев напротив меня, тяжело вздохнула. Какое-то время мы молчали, и вдруг Мария Михайловна, резко вздрогнув, уронила лицо в раскрытые ладони и, продолжая конвульсивно вздрагивать всем телом, горько зарыдала.

— Мария Михайловна, — сказал я, привстав в сильнейшем волнении, — что с вами?

И хотя я и ожидал, что боль, очевидно мучившая все ее существо, как-то прорвется наружу, этот внезапный, ничем не сдерживаемый плач глубоко тронул мою душу. Все лицо ее было в слезах, и казалось, слезы наполняли весь воздух комнаты и блестели на всех предметах, находившихся в ней.

Наконец она справилась с собой. Немного успокоилась и, убрав руки с лица, глазами, все еще полными слез, стала просто смотреть куда-то в пустоту перед собой.

— А где Михаил Петрович? — спросил я наугад, ища хоть какую-то тему для разговора.

Мария Михайловна шевельнулась, словно разбуженная мной, и, посмотрев на меня печально, коротко ответила:

— V túrmě!

— Вы шутите? — вскрикнул я. — Арестован? За что?

— Ну да, — она пожала плечами, — подозревается в контрреволюционной деятельности.

— Да, бога ради, как же это? Ведь власть была передана мирно, согласно договоренности. В чем он еще мог быть замешан? Человек, всегда выступавший против Колчака?

— Да, да, конечно, — только кивала в ответ головой Мария Михайловна. — Но что тут сделаешь? Подозрение есть подозрение, они сказали, «мы сами разберемся», вот и все.

Я был поражен. Я буквально лишился дара речи, и мысли мои путались.

— А Васил Иннокентьевич? — наконец спросил я с самого мне непонятным нервным интересом.

Мария Михайловна кинула на меня быстрый, испытующий взгляд и спросила:

— А вы сами не знаете?

— Нет.

— Бежал, — прошептала она, и слабый румянец появился на ее щеках.

Я опустил голову. Мария Михайловна сидела передо мной измученная и опустошенная. На ее опущенных ресницах блестели слезы, сама она вздрагивала, а крепко сжатые губы были багровыми от приливавшей к ним крови. Грудь тяжело вздымалась и опускалась, и отрывистое дыхание выдавало всю силу той боли, что ломала все ее тело. И я был необыкновенно расстроен. В порыве самого искреннего сердечного сочувствия я схватил ее руку и жарко сжал, глаза мои не отрывались от ее маленькой ладони и мучительно пытались увидеть, чем же облегчить ее страшную боль.

«Что же будет? — думал я. — Не может же она оставаться здесь одна, всеми оставленная. Ведь ее и саму могут арестовать».

И ни о чем другом я не мог думать.

— И что же теперь? — в конце концов сказал я уже вслух.

— Не знаю, — печально пожала плечами Мария Михайловна.

— Вам надо бежать, — быстро проговорил я, — бежать отсюда как можно скорее. Поезд американского Красного Креста⁹⁹ все еще стоит на вокзале. Вам просто необходимо уехать с ними. А что если вас саму арестуют? Боже мой, и почему же вы не уехали с Василием Иннокентьевичем?

Мария Михайловна вскинулась. Ее лицо неожиданно обрело твердость мрамора, а в глазах явился стальной блеск. Она легонько освободила свою ладонь из моих рук и решительным голосом произнесла:

— Нет, Адольф Войтехович. Я остаюсь! Из-за одного только отца я бы не могла бежать. И кроме того... я же русская. Я никогда не оставляю свою землю.

— Ну, хорошо... я понимаю вас, — пробормотал я. — Но как же большевики?

— Они тоже русские, — не дала мне договорить Мария Михайловна. — Лучше я умру на своей, пусть и большевистской земле, чем на чужбине.

Я опустил голову. Внезапно меня поразила красота души Марии Михайловны, ее горячая любовь к родной земле, любовь, в которой было семя будущих всходов. Ах, если бы больше было таких женщин в России. Какой счастливой могла бы быть эта земля даже в своем большевизме.

Я был расстроен, но в то же время неодолимой волной поднималось во мне чувство безмерного восхищения перед трагической силой этой женщины. И с этим при-

⁹⁹ «Мария Михайловна не только свободно владела французским, что в России дело обыкновенное, но и знала английский, что дало ей возможность служить в американском Красном Кресте, работа в котором с финансовой точки зрения значила в ту пору очень и очень много» (глава XI).

шло острое чувство моей ненужности здесь, где любые мои пустые, по сути, слова утешения самим окружающим нас молчаливым стенам показались бы лишь проявлением формальной любезности. Но при всем этом какое сладкое опьянение кружило мне голову и необыкновенное воодушевление путало мысли.

Я поднялся. Встала и Мария Михайловна.

— Мария Михайловна, — сами собой вырвались у меня из горла немилые мне слова, — я не могу сказать вам «do svidan'ja». Мы уже не увидимся никогда. Но вспомните меня хоть иногда.

Она посмотрела на меня долгим взглядом. А потом подала мне обе руки, что дрожали, словно от холода. Глаза ее заблестели. Легкий румянец выступил на ее бледных щеках. Я почувствовал, как кровь ударяет мне в голову. Я почувствовал, как неодолимая сила толкает меня к ней, требует прижать к себе все ее существо. Запах ее тела, струясь через тонкую ткань одежды, сводил меня с ума. Наше дыхание соединилось в одно. И губы слились в одном долгом, очень долгом поцелуе. И произошло это так естественно, так чисто и так болезненно трогательно. Этот поцелуй стал самым чудесным и самым горячим поцелуем моей жизни, и слезы сами собой полились у меня из глаз.

Мария Михайловна отодвинулась от меня, и я быстро вышел из komnaty. И только прощальный всхлип вылетел белым клубком вслед за мной и растворился над моей головой в темноте морозного вечера.

Глава XXIV

Наконец едем.

В приподнятом настроении, полные эгоистической радости, бежим с этой земли, на которой мы пережили самые прекрасные и самые горькие дни нашей жизни, с той, что стала нам второй родиной, но одновременно и адом, той землей, что мы порою люто ненавидели, но которую никогда не переставали любить. Но торжество наше было преждевременным. Медленно, с бесконечными остановками тащились мы в своих ешелопеш вдоль берегов замерзшего Байкала, гладь которого, скованная льдом, была укрыта толстым одеялом снега, в то время как у берега волны, некогда злобно бившиеся о скалы, замерли вздыбившимися лентами ледовых торосов. Мы простаиваем по неделям на безлюдных станциях. И вновь все мысли о братьях в нашем заднем охранении, которым все еще продолжает грозить опасность. Удачная победа над поляками и легкий успех в Иркутске вскружили головы большевикам, и переговоры нашего командования с ними не приносили результатов. Пришлось показать зубы и пообещать, отходя, взорвать железнодорожные пути, чтобы красные начали уступать. И большевики в конце концов пошли на мировую. Как они ни были самоуверенны, но все же опасались, что не выдержат возможного удара со стороны наших, а кроме того, при этом еще и очень боялись отступающих каппелевцев, отчаянная самоотверженность которых и спаянность сами по себе могли привести к катастрофе. Все тот же страх перед каппелевцами приводил в панический ужас и местный совет. Слухи о каппелевцах ходили самые пугающие, и чем ближе они подходили к Иркутску, тем настойчивее местный совет просил красное командование заключить с нами мир. И в конце концов договор об этом был подписан в феврале 1920-го.

Опасность, грозившая нашему тылу, была ликвидирована. И теперь единственной помехой для нашей эвакуации были лишь трудности технического характера и бесконечная череда недоразумений, возникавших во взаимоотношениях с семеновцами

и японцами, которые в свою очередь точно так же собирались и постепенно отходили на восток. Отрывочные вести с запада долетали до нас лишь случайные и несвязанные. И казались новостями из какого-то уже иного мира, они нас интересовали, но уже никак не касались. Прозвучали выстрелы, что по приказу иркутского совета сразили Колчака, которого, как этого опасался совет, могли бы освободить вплотную уже подошедшие к городу каппелевцы. Но новость о случившемся оставила нас равнодушными. Это была несомненная несправедливость. Эта была очевидная насмешка над собственной декларацией совета об отмене смертной казни. И эта была жестокость. Но разве революция сама по себе не есть жестокость? И разве смерть еще одного отменила тысячи и тысячи других?

Мы набрасывались на все новости, что доходили до нас из Иркутска о новом режиме, там установившемся, о бесчинствах Карандашвили, о передаче золота. Мы набрасывались на них, но как набрасываются на что-то сенсационное в газетах, оставаясь внутри совершенно равнодушными, все наши мысли давно уже были устремлены только вперед, через маньчжурские степи¹⁰⁰ к морским просторам, на которых так скоро будут бороться с волнами корабли, что повезут нас к берегам нашей Итаки¹⁰¹. И поэтому трагический конец колчаковского режима, рушащаяся мощь Семенова и безуспешные, судорожные попытки русской демократии сохранить за собой хоть какой-то кусок Русской земли казались нам уже прошлым, от которого нас отделяют столетия. Мы жили только своим будущим и счастливым грядущим нашей родины.

И лишь одно нас по-настоящему трогало и сжимало болью наши сердца. Это судьба героических каппелевцев, потому что мы знали, что с ними умирает в снежных вихрях единственная настоящая русская демократия. Это был цвет сибиряков¹⁰², которых косили голод, болезни и злобные наскоки неприятеля. Эта была, вне всякого сомнения, часть героической русской армии, которую в большинстве своем составляли добровольцы, воевавшие с самого первого дня бок о бок с нами. Была это русская демократия, которая вела бой с большевиками за идею демократического государства и лишь волею судьбы принужденная быть в своей борьбе вместе с Колчаком¹⁰³. Вся та

¹⁰⁰ Основной поток эвакуировавшихся чехословаков после Читы уходил во Владивосток привычным в ту пору способом, по КВЖД, а не по новопостроенной Амурской и далее Уссурийской ветке Транссиба.

¹⁰¹ Написанная по горячим следам и изданная в 1922 году книга Адольфа Земана еще не пестрит словом «анабазис», скоро ставшим назойливым и просто неизменным для описания чехословацкой одиссеи в Сибири. Оно не встречается у Земана вообще ни разу. Но вот для самого Одиссея и его родного острова Итака место все-таки нашлось. И это равно банально, конечно, но все же не так, как у всех.

¹⁰² Это не вполне соответствует действительности. Ядро каппелевцев составляли уральцы и волжане, которым при всем желании некуда было бежать, в отличие от сибиряков того же томича Пепеляева, что охотно разошлись по домам зимой 1919-го, когда стало совсем уже невмоготу.

«Сибирская же армия или каппелевцы состояла из уральцев, уфимских татар, волжан, оренбургских казаков, воткинских и ижевских рабочих (сибиряков почти не осталось). Все это были люди, добровольно бросившие свой родной дом, семьи, спаянные между собой идеей борьбы с коммунистами и непрерывными двухлетними боями и походами. Эти части, конечно, в боевом отношении были несравненно выше по количеству и по качеству частей атамана Семенова. К тому времени чувствовалась все-таки некоторая усталость, и вера в успех была потеряна. Воевали потому, что другого выхода уже не было» (Зиновьев В. А. Каппелевцы в Забайкалье. В кн.: Каппель, с. 228).

¹⁰³ Это еще одно достаточно сомнительное утверждение автора романа. Сам В. О. Каппель оставался, как известно, до конца жизни монархистом, с другой стороны, в частях воткинских и ижевских рабочих было принято обращение друг к другу «товарищ», чего едва ли можно было ожидать от их товарищей по общей борьбе оренбургских казаков. Однако если рассматривать всех этих людей с очень разными политическими взглядами и национальными устремлениями (те же татары) как

безыдейная масса насильно Колчаком мобилизованных людей, которая лишь разлагала армию, давно уже вся разбежалась или пошла на службу к большевикам. И только ядро того, что составляло русский отпор преступной доктрине одного класса, еще не оставляло идею борьбы и продолжало пробиваться на восток в фанатической вере, что там еще найдет какое-то понимание и опору для новых будущих сражений с проклятым большевизмом.

После падения Омска колчаковская армия отступала вдоль сибирской магистрали и тайги на восток. Армия постепенно таяла. Обольшевичившиеся или оставшиеся безыдейными солдаты переходили к большевикам или разбежались по своим деревням. Первая армия, составленная по большей части из мобилизованных в самый последний момент людей, полностью развалилась и, по сути дела, открыла советским войскам фронт. Остались только Вторая и Третья армии. Основу Третьей армии, ее историческую часть, составляли части, созданные еще в первые дни нашего собственного выступления против большевиков главным образом из оренбургских, омских и енисейских казаков, а также рабочих из Самары, Уфы и других городов Поволжья. Вторая армия была остатком армии Гайды, и ее ядро составляли передовые пермские рабочие, рабочие воткинских и ижевских заводов, михайловская рабочая дивизия¹⁰⁴ и другие. К ним присоединились добровольцы из разных городов Средней Сибири. Таким образом, составляли отряды каппелевцев представители самых разных общественных слоев: офицеры, казачество, крестьяне, рабочие, а также в меньшем числе выходцы из буржуазии и городской интеллигенции. И это была самая демократическая армия, которую Россия когда-либо знала.

Вся эта масса крепко спаянных людей, породненная идеей демократии, общим чувством смертельной опасности и дисциплиной, отступала вместе с нами вдоль железной дороги по старому московскому тракту, от Красноярска пробивалась через снега в страшные морозы на замученных конях или тащилась на санях по непроходимым дорогам и руслам замерзших рек Кану¹⁰⁵ и Енисею к Иркутску, и дальше через замерзшую ледовую равнину Байкала под защиту Семенова, в лице которого надеялась найти нового союзника в борьбе с большевизмом. Героический генерал Каппель, именем которого и называли себя все эти люди, во время этого трагического похода, равного которому мир ничего не знал со времен отступления Наполеона, нашел вместе с тысячами других героев свою смерть. Страшные морозы, тиф, невероятное напряжение всех сил и ужасные испытания косили людей сотнями. После смерти генерала Каппеля командование принял на себя Войцеховский совместно с генералами Бордзиковским, Вержбицким и другими¹⁰⁶.

безусловных сторонников решения судьбы России с помощью некоего всенародного или иного общего собрания и договора, то в этом смысле можно, наверное, говорить, что речь в общем и целом шла о сторонниках той или иной формы народовластия.

¹⁰⁴ Речь, по всей видимости, о рабоче-крестьянском подразделении Народной армии КОМУЧа (изначально 2000 человек), созданной летом 1918-го в Златоустовском уезде Уфимской губернии на Михайловских заводах (см. в кн.: Каппель, с. 295).

¹⁰⁵ В тексте романа Кану. Очевидный редакторский недосмотр. Исправлено.

¹⁰⁶ Конечно, в армии и после смерти Каппеля, передавшего незадолго до кончины командование генералу Войцеховскому, сохранилось единоначалие. И генерал-лейтенант Вержбицкий, и генерал-майор Бордзиковский продолжали подчиняться своему главнокомандующему Войцеховскому. Здесь же, отмечая в основном верную картину Великого сибирского ледового похода, нарисованную Адольфом Земаном, едва ли имевшим доступ к архивам Белой армии, хотелось бы дать ссылку все же на вполне документальное, по крайней мере на уровне одной из участвовавших в походе частей,

Таким образом, покуда наши эшелоны медленно двигались вперед, каппелевцы, обойдя Иркутск, вступили на ровную гладь Байкала и, словно призраки, перешли перед нами эту снежную равнину.

Тяжело на сердце от мыслей о них.

Сколько общих воспоминаний связывает нас с этими отважными воинами, которые некогда вместе с нами побеждали в славных боях и были свидетелями праздничного воодушевления всей Сибири. Как больно и тяжело было теперь смотреть на эту сокрушенную силу, которая могла когда-то сотворить новую Русь, если бы нашла опору в более широких кругах демократии¹⁰⁷. И как заставляет это зрелище задуматься и о нашей собственной никчемности, о бессмысленности войны, отданных жизней и пролитой крови.

Мы стояли на маленьком *gazjezde* в широкой лощине среди Саянских гор. На высоких хребтах блестел снег, и, словно пыль, упавшая с этих вершин, серебрился иней на ветвях и стволах деревьев, покрывавших крутые склоны. Все вокруг нас словно умолкло и замерло в этой тянувшейся в бесконечную белую даль лощине. И лишь широкая змея проезжей дороги, бежавшая вдоль железнодорожных путей от деревушки к деревушке, чернела полосой разъезженной и растоптанной земли, покрытой конским навозом. Тысячи и тысячи лошадей прошли по ней, неся на своих хребтах замерзших ездоков и влача широкие сани, на которых везли больных или сидели женщины посреди наваленного как попало жалкого и случайного имущества. Никого не согревая, солнце освещало неярким светом край, дышавший колючим воздухом мороза, в котором поблескивали кристаллы инея.

А на самой станции было живо. Кучки детей немедленно обступили наши вагоны и начали попрошайничать.

— *Ďadinka, daj chlebca... ĎaĎa daj karandaš... kusoček bumagy...* — звучало со всех сторон. Ребята вытаскивали из карманов огрызки карандашей, вырывали из записных книжек и тетрадей чистые листочки и раздавали детям. Возле кухни толпа голодных женщин и детей жадно протягивала горшки и кувшины, в которые повара наливали остатки супа. Обычная картина на сибирской станции после прибытия эшелона наших. Тысячи русских людей буквально кормила наша армия. И были такие повара, что намеренно варили больше супа и сами, словно маленькие, ждали момента, когда можно будет проявить щедрость и облегчить тяжкую долю женщин и детей.

Какие-то буряты из близлежащих улусов привезли на продажу замороженное молоко в виде огромных кругов, по форме горшков, и с усмешками предлагали его купить. Ребята обменивали его на сахар или чай.

Вдруг где-то в конце эшелона кто-то крикнул:

— Каппелевцы!

До сих пор никто из нас не имел случая увидеть их вблизи. На оставшейся позади нас станции Мысовой мы видели силуэт их колонны, тянувшийся по снежной глади замерзшего Байкала. И вот теперь они здесь. От прозвучавшего крика всех нас охватило необыкновенное волнение, и все взоры обратились к дороге, что выбегала в нашу сторону из-за домов недалеко стоявшего хуторка. На ней отчетливо были видны всадники. Весь наш эшелон ожил, и все, несмотря на страшный мороз, стали выска-

свидетельство генерал-майора Пучкова (Пучков Ф. А. 8-я Камская стрелковая дивизия в Сибирском ледяном походе. В кн.: Каппель, с. 183—226).

¹⁰⁷ По всей видимости, Земан имеет в виду нежелание сибиряков Омска и Томска летом 1918-го включиться в борьбу с красными на Волге, что привело к потере Казани и всего наступательного потенциала Народной армии КОМУЧа.

кивать из вагонов, чтобы только увидеть легендарных героев. Несколько человек поспешили к самой дороге, что проходила через поселок у станции, для того, чтобы посмотреть на них совсем близко и хоть бы взглядами выразить нашу симпатию.

В поселке уже все было в движении. Посреди проезжей улицы шел отряд казаков в образцовом порядке, все на лошадях. Кони худые, все в пару, который курился над ним, словно белое облако, и тут же ложился инеем на их включенную шерсть, спокойно несли своих седоков вперед. Офицер возле сына мужика, рабочий рядом со студентом ехали молча, бросая на нас кто печальный, кто насмешливый, но все больше осуждающие взгляды. Между собой они тоже особенно не говорили. Улыбки словно замерзли на их устах. У многих были бинты на головах, на руках, повязки на отмороженных носах или ушах. Почти никто не курил. Молча шли мимо нас, провожаемые нашими взглядами. Лишь иногда кто-то кого-то узнавал и приветствовал. За строевой конницей потянулся огромный, казавшийся бесконечным хвост саней с больными и ранеными, полозья скрипели на замерзшем снегу, а кони шли тяжело и неровно. Возницы шагали рядом с повозками, увязая в грязном снегу.

Тяжко было смотреть на худые, изможденные тени, бредущие по снегу. На хромящих коней, израненных и с кровящими ногами, гниющими ранами на боках и бабках, что тащили сани, на которых валялись целые куски красного, замерзшего мяса, мешки с мукой или стонали полузамерзшие несчастные, которым уже смотрела смерть в налитые горячкой глаза. На некоторые санях обнаруживалась среди вороха тюков и кожухов чья-то жена, на иных из кучи наваленных вещей мог блеснуть новый самовар, что-то из посуды или лаковый бок какой-то мебели. Бесконечным казался этот поток, который время от времени замедлялся или совсем замирал, покуда впереди не разбирался затор, созданный сбившимися и увязшими в сугробах санями.

Жители деревни глядели на все это молча. Не было в их глазах ни гнева, ни симпатии. Тупо и равнодушно смотрели они на картину страшной драмы, которую не понимали и которая не доходила до их сердец. Жили они в глуши очень далеко от кипящего варева революции и только, может быть, где-то в самой глубине души ощущали, что происходит нечто-то непрошеное и роковое, что вскоре придет и к ним в их тихие, всеми забытые деревни.

Наконец густой поток стал редеть, сани, люди и одинокие, ставшие ненужными кони отставали, не поспевая за идущими впереди. Тут и там хромой и шатающийся одинокий конь сам по себе уходил куда-то с дороги в поле и исчезал где-то среди сугробов. Никто на это уже не обращал внимания, никто не пытался что-либо сделать. Недалеко от того места, где стоял я, перед воротами хорошего деревянного дома каких-то зажиточных коренных сибиряков внезапно замерли сани, и возле них тут же собралось несколько пеших и всадников. Среди глазевших без дела на все мужиков и баб началась какая-то суматоха, и они тоже окружили сани.

Любопытство охватило и меня, и я подошел ближе.

— Воды, дайте воды, — раздался из толпы женский голос, и какая-то другая женщина быстро побежала к дому.

— Бедняга, — шептались между собой две девушки, заглядывая в сани, — а какой еще молодой...

Протиснулся через кольцо людей и я.

На куче старых шуб, вонявших овчиной, лежал вконец исхудавший юноша с широко раскрытыми от горячки глазами. Он тяжело дышал, и время от времени губы его размыкались, словно пытаясь поймать хоть немного ледяного воздуха. Лицо его было бело как снег, и капли пота блестели жемчужинами у него на лбу.

Я содрогнулся всем телом от внезапного приступа дрожи. Протиснулся к саням вплотную и заглянул прямо в лицо, совершенно уже очевидно умирающего человека. У меня перехватило дыхание. Это был Николай Степаныч¹⁰⁸.

И как будто и он меня узнал, показалось, что больной попытался приподняться и взгляд его уже помутневших глаз остановился на мне. Боже, и о чем только сразу не сказал мне этот полный муки взгляд. Сердце сжалось в моей груди от боли, и горло перехватило от накативших слез. И не видя смысла сопротивляться этому чистейшему из всех порывов души, я позволил горячим слезам набухнуть в моих глазах.

И в ответ словно слабая улыбка возникла на устах умирающего. В этот момент наконец женщина принесла из дома воды и поднесла стакан к губам Николая Степаныча. Но он лишь слабо махнул рукой и не отпил и глотка. А потом, еще раз посмотрев на меня, он словно попытался всеми оставшимися у него силами поднять и протянуть мне руку, но сумел лишь только прошептать:

— Proščajtě!

Тогда я сам схватил его за руку и ощутил ледяной холод его пальцев. У меня не было слов, и только уже ничем не сдерживаемые слезы лились из глаз.

— Ну же, — выкрикнул какой-то долговязый офицер, на рысях подъехавший к нам с несколькими казаками, и хлестнул нагайкой запряженного в сани коня, — заморозить тут, что ли, решили человека, или как?

Конь дернулся, и рука Николая Степановича выскользнула из моей ладони. Полозья саней закрипели на мерзлом снегу.

— Умирает, не довезем, — пробормотал один из солдат, обращаясь к офицеру.

— Через полчаса будем в городе, — ответил ему офицер, — и там наверняка есть врач.

При этом он еще раз глянул на простертого больного и в полной безнадежности только хлестнул нагайкой воздух.

Медленно удалялась от меня смерть, сани, что ее везли, скрылись за поворотом дороги, нырявшей в низкую, заснеженную тайгу, белые вершины которой растворялись в таком же белом, ничего не выражавшем небе.

Перевод с чешского и предисловие
Сергея СОЛОУХА

Сергей Солоух — автор многих книг, а также неоднократно переизданных комментариев к роману Ярослава Гашека о Швейке. Финалист и лауреат литературных премий (дважды Большой книги и трижды премии за лучший рассказ года им. Юрия Казакова). Переводчик книг чешских авторов о русской Гражданской войне (Вацлав Хаб «Мариинск», «Новый мир», 2022, № 12, 2022; Йозеф Мнехура «Разведчики у Казани», «Волга», 2023, № 11–12).

¹⁰⁸ Офицер, близкий приятель Василя Иннокентьевича, с которым в первых главах романа, в Мариинске, накануне восстания там чехословаков, Васил Иннокентьевич знакомит рассказчика. Это участник антибольшевистского подполья в Томске и доброволец, что позднее всю Гражданскую, в отличие от своего друга Василя Иннокентьевича, проведет на передовой. Автор и рассказчик его еще несколько раз встретит в общей буре событий. Также заметим, что в оригинале отчество этого героя автор, не особенно задумываясь, то переводит, то нет на чешский, здесь у него чешский вариант — Штепанич (Nikolaj Štěpanič), при переводе на русский сделано обратное преобразование. Возможно, стоит обратить внимание и на то, что чешская традиция звать любого русского всегда по имени-отчеству, которая сродни желанию русских всех чехов звать панями, несколько затемняет картину и мешает пониманию того, что и Васил Иннокентьевич, и друг его Николай Степанович — молодые люди и офицеры.